Дневник писателя

Антуан де Сент-Экзюпери

Можно верить в людей...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Можно верить в людей, пока ты молод, пока мир – создание твоего воображения» – писал Экзюпери. Один из самых ярких писателей XX века прожил нелегкую жизнь, но ни на минуту он старался не терять святой веры в человека.

Предлагаемая книга содержит в себе уникальные по своему художественному и историческому значению записные книжки, а также письма и телеграммы автора самых проникновенных и искренних произведений века. Путевые очерки о путешествии в Советскую Россию; дневниковые записи, рассказывающие о посещении Испании в годы гражданской войны; дневник 1939–1944 гг., впервые опубликованный во Франции лишь спустя несколько десятилетий после смерти автора. Российскому читателю впервые предоставлена возможность увидеть то, как формировалась личность создателя «Маленького Принца», как изменялись его взгляды на жизнь.

- Антуан де Сент-Экзюпери
  - ○
  - ○ Вместо предисловия. Антуан де Сент-Экзюпери «Молитва»
  - ○ Антуан де Сент-Экзюпери (Андре Моруа)
    - ■
    - ■ I. Промежуточные этапы
    - ■ II. Законы действия
    - ■ III. Творчество
    - ■ IV. Философия
  - ○ Репортажи (Антуан де Сент-Экзюпери)
    - ■ Москва
      - ■ Под гул тысячи самолетов Москва готовится праздновать годовщину революции
      - ■ По пути в Советский Союз
      - ■ Москва! А где же революция?
      - ■ Преступление и наказание перед лицом советского правосудия
      - ■ Трагическая гибель самолета «Максим Горький»
      - ■ Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет…

        - Испания в крови
            - В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны
            - Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне
            - Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…
            - В поисках войны
            - Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга
        - Мадрид
            -
            - Кто ты, солдат[47]
        - Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов
        - Надо придать смысл человеческой жизни[51]
    - Письма, телеграммы, записные книжки (Антуан де Сент-Экзюпери)
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24

- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112

- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156

- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200

- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229

Антуан де Сент-Экзюпери
Можно верить в людей… Записные книжки хорошего человека

© Переводчики: Я. Лесюк, Д. Кузьмин, Р. Грачев, Ю. Гинзбург, Л. Цывьян, Е. Баевская., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Вместо предисловия. Антуан де Сент-Экзюпери «Молитва»

…Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня.

Научи меня искусству маленьких шагов.

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали.

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни.

Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью.

Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем.

Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную.

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко.

Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя!

Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению.

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе.

Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.

Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.

Научи меня искусству маленьких шагов!

Антуан де Сент-Экзюпери *(Андре Моруа)*

Авиатор, гражданский и военный летчик, эссеист и поэт, Антуан де Сент-Экзюпери, вслед за Виньи, Стендалем, Вовенаргом, вместе с Мальро, Жюлем Руа[1], а также несколькими солдатами и моряками, принадлежит к числу немногих романистов и философов действия, которых породила наша страна. В отличие от Киплинга, он не просто восторгался людьми действия: он, подобно Конраду[2], и сам участвовал в деяниях, которые описал. На протяжении десяти лет он летал то над Рио-де-Оро, то над Андийскими Кордильерами; он затерялся в пустыне и был спасен владыками песков; однажды он упал в Средиземное море, а в другой раз – на горные цепи Гватемалы; он сражался в воздухе в 1940 году и вновь сражался в 1944. Покорители Южной Атлантики – Мермоз и Гийоме[3] – были его друзьями. Отсюда та достоверность, которая звучит в каждом его слове, отсюда же берет начало и жизненный стоицизм, ибо деяние раскрывает лучшие качества человека.

Однако Люк Эстан, написавший превосходную книгу «Сент-Экзюпери о самом себе», прав, говоря, что деяние никогда не было для Сент-Экзюпери самоцелью. «Самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин»[4]. И Люк Эстан прибавляет: «Он пашет и не для того, чтобы просто провести борозды, но для того, чтобы их засеять. Действие для самолета – то же, что пахота для плуга. Какие она сулит посевы и какой урожай можно будет собрать?» Я полагаю, что ответить на этот вопрос можно так: правила жизни – вот что сеешь, а урожай – это люди. Почему? Да потому, что человек способен постичь только то, в чем он сам принимал непосредственное участие. Вот откуда возникала та тревога, которая на моих глазах терзала Сент-Экзюпери в Алжире, в 1943 году, когда ему не разрешали летать. Он терял контакт с землею, потому что ему отказывали в небе.

I. Промежуточные этапы

Многие современники рассказывали об этой краткой, но полной событий жизни. Вначале был Антуан де Сент-Экзюпери, «сильный, веселый, открытый» мальчуган, который в двенадцать лет уже изобретал аэроплан-велосипед и заявил, что он взлетит в небо под восторженные клики толпы: «Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!» Учился он неровно, в нем проявлялись проблески гения, но заметно было, что ученик этот не создан для школьных занятий. В семье его называют Король Солнце[5] из-за белокурых волос, венчающих голову; товарищи прозвали Антуана Звездочет, потому что нос его вздернут к небу. В действительности он уже тогда был Маленьким принцем, надменным и рассеянным, «всегда радостным и бесстрашным». Всю жизнь он сохранял связь со своим детством, он всегда оставался восторженным, любознательным и с успехом играл роль мага-волшебника, как бы в ожидании восторженных возгласов: «Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!» И эти возгласы раздавались. Но только чаще говорили: Сент-Экз, Антуан или Тонио, потому что он неизменно становился частицей внутренней жизни всех тех, кто его знал или читал его книги.

Никогда еще, пожалуй, призвание авиатора не проявлялось в человеке более явственно, и никогда еще, пожалуй, человеку не было так трудно осуществить свое призвание. Военная авиация согласилась зачислить его только в запас. Лишь когда Сент-Экзюпери исполнилось двадцать семь лет, гражданская авиация позволила ему стать летчиком, а затем начальником аэродрома в Марокко – в пору, когда страну эту раздирали противоречия: «Маленький принц становится важным начальником».

Он публикует книгу «Южный почтовый» и приобщает небо к литературе, что не мешает ему оставаться смелым и энергичным пилотом, а затем техническим директором филиала компании «Аэропосталь» в Буэнос-Айресе – тут он работает бок о бок с Мермозом и Гийоме. Он попадает в многочисленные и тяжелые аварии. И только чудом остается в живых. В 1931 году он женится на вдове испанского писателя Гомеса Каррильо – Консуэло, уроженке Южной Америки: фантазия этой женщины приводит в восторг Маленького принца. Аварии продолжаются;: то Сент-Экз чуть не разбивается во время чудовищного падения, то после вынужденной посадки он оказывается затерянным в песках. И, мучимый изнурительной жаждой в самом сердце пустыни, он испытывает острую потребность вновь отыскать «Планету людей»!

1939 год. Вспыхивает война. И хотя врачи упорно признают,

что Сент-Экзюпери совершенно негоден к полетам (следствие многочисленных переломов и контузий), он, в конце концов, добивается зачисления в разведывательную авиагруппу 2/33. В дни вражеского вторжения, после нескольких боев группу эту отправляют в Алжир и личный состав ее демобилизуют. В конце года Сент-Экз прибывает в Нью-Йорк, где мы с ним и встретились. Там он пишет книгу «Военный летчик», снискавшую огромный успех в Соединенных Штатах, а также во Франции, в то время оккупированной врагом. Я всей душой привязался к нему и охотно повторил бы вслед за Леоном-Полем Фаргом: «Я его очень любил и всегда буду оплакивать». Да и как было не любить его? Он обладал одновременно силой и нежностью, умом и интуицией. Он питал пристрастие к ритуальным обрядам, он любил окружать себя атмосферой таинственности. Неоспоримый математический талант сочетался в нем с ребяческой тягой к игре. Он либо завладевал разговором, либо молчал, словно мысленно уносился на какую-нибудь иную планету.

Я бывал у него на Лонг-Айленд в большом доме, который они снимали с Консуэло, – там он писал «Маленького принца». Сент-Экзюпери работал по ночам. После обеда он разговаривал, рассказывал, показывал карточные фокусы, затем, ближе к полуночи, когда другие ложились спать, он усаживался за письменный стол. Я засыпал. Часа в два утра меня будили крики на лестнице: «Консуэло! Консуэло!.. Я голоден… Приготовь мне яичницу». Консуэло спускалась из своей комнаты. Окончательно проснувшись, я присоединялся к ним, и Сент-Экзюпери снова говорил, причем говорил он очень хорошо. Насытившись, он опять садился за работу. Мы пытались снова заснуть. Но сон был недолгим, ибо часа через два весь дом заполняли громкие крики: «Консуэло! Мне скучно. Давай сыграем в шахматы». Затем он читал нам только что написанные страницы, и Консуэло, сама поэт, подсказывала искусно придуманные эпизоды.

Когда генерал Бетуар[6] прибыл в Соединенные Штаты за вооружением, мы оба – Сент-Экз и я – вновь попросили зачислить нас на службу во французскую армию в Африке. Он уехал из Нью-Йорка на несколько дней раньше меня и, когда я сошел с борта самолета в Алжире, уже встречал меня на аэродроме. Вид у него был несчастный. Ведь Антуан так сильно ощущал узы, объединяющие людей, он всегда чувствовал себя в какой-то мере ответственным за судьбы Франции, и вот теперь он обнаружил, что французы разделены. Два генеральных штаба противостояли друг другу. Он был зачислен в резерв командования и не знал, разрешат ли ему летать. Ему было уже сорок четыре года, а он упорно и настойчиво добивался, чтобы ему позволили управлять

самолетом «П-38», быстрой машиной, созданной для более молодых сердец. В конце концов, благодаря вмешательству одного из сыновей Рузвельта, Сент-Экзюпери получил на это согласие. А в ожидании он работал над новой книгой (или поэмой), которая позднее была названа «Цитадель».

Произведенный в чин майора, он сумел присоединиться к дорогой его сердцу разведывательной группе 2/33, группе «Военного летчика», но начальники, тревожась за его жизнь, неохотно разрешали ему полеты. Ему пообещали пять таких полетов, он вырвал согласие еще на три. Из восьмого полета над оккупированной в то время Францией он не возвратился. Он вылетел в 8 часов 30 минут утра, а к 13 часам 30 минутам его все еще не было. Товарищи по эскадрилье, собравшись в офицерской столовой, ежеминутно смотрели на часы. Теперь у него оставалось горючего всего на один час. В 14 часов 30 минут не осталось больше никакой надежды. Все долго хранили молчание. Потом командир эскадрильи сказал одному из летчиков:

«Вы выполните задание, порученное майору де Сент-Экзюпери».

Все закончилось так, как в романе Сент-Экза, и можно было легко представить себе, что, когда у него не осталось больше горючего и, быть может, надежды, он, подобно одному из своих героев, устремил самолет ввысь – к небесному полю, густо усеянному звездами.

II. Законы действия

Законы героического мира постоянны, и мы вправе ожидать, что обнаружим их в творчестве Сент-Экзюпери почти такими же, какими мы их знали в повестях и рассказах Киплинга.

Первый закон действия – дисциплина. Дисциплина требует, чтобы подчиненный уважал своего начальника; она требует также, чтобы начальник был достоин такого уважения и, чтобы он, со своей стороны, уважал законы. Нелегко, совсем нелегко быть начальником! «О господи, я жил могучий, одинокий!»[7] – восклицает Моисей у Альфреда де Виньи. Ривьер, под началом у которого находятся летчики в «Ночном полете», добровольно замыкается в одиночестве. Он любит своих подчиненных, питает к ним какую-то сумрачную нежность. Но как может он открыто быть их другом, если он обязан быть суровым, требовательным, безжалостным? Ему трудно наказывать, больше того – он отлично знает, что наказание порою несправедливо, что человек не мог поступить иначе. Однако только строжайшая дисциплина оберегает жизнь остальных летчиков и обеспечивает регулярное несение службы. «Правила, – пишет Сент-Экзюпери, – похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей»[8]. Порою необходимо, чтобы один человек принес себя в жертву ради спасения множества других. На плечи начальника ложится ужасная ответственность – избрать жертву, и, если приходится пожертвовать другом, он даже не имеет права выказать свою тревогу: «Любите подчиненных, но не говорите им об этом»[9].

Что дает начальник своим людям в обмен на их послушание? Он дает им «директивы»; для них он подобен маяку в ночи действия, указывающему летчику путь. Жизнь – это буря; жизнь – это джунгли; если человек не борется с волнами, если он не борется с густым переплетением лиан, он погиб. Постоянно подстегиваемый твердой волей начальника, человек побеждает джунгли. Тот, кто подчиняется, считает законной суровость того, кто им командует, если суровость эта играет роль постоянных и надежных доспехов, служит защите его жизни. «Эти люди… любят свое дело, и любят его потому, что я строг»[10], – говорит Ривьер.

Что еще дает начальник людям, которыми он командует? Он дает им победу, величие, долгую память в сердцах современников. Созерцая воздвигнутый на горе храм инков, который один только уцелел от погибшей цивилизации, Ривьер вопрошает себя: «Во имя какой суровой необходимости – или странной любви – вождь древних народов принудил толпы своих

подданных возвести этот храм на вершине и, тем самым, заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?»[11] На это какой-нибудь доброжелательный человек, без сомнения, ответил бы: «Разве не лучше было бы не строить этот храм, но зато и не заставлять никого страдать, возводя его?» Однако человек – существо благородное, и он любит величие больше удобств, больше счастья.

Но вот приказание отдано, люди начинают действовать, и тогда по законам героического мира в дело вступает дружба между сотоварищами. Узы общей опасности, общей самоотверженности, общих технических средств сначала рождают эту дружбу, а затем поддерживают ее. «Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего, в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком»[12]. Работать ради материальных благ? Какой самообман! Таким путем человек приобретает всего лишь прах и пепел. И это не может принести ему то, ради чего стоит жить. «Я перебираю самые неизгладимые мои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого – да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира». У богача есть сотрапезники и прихлебатели, у человека могущественного – придворные, у человека действия – товарищи, они же – и его друзья.

«Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов[13]. Но за этим скудно освещенным столом горсточка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается – все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря»[14].

Находясь рядом с другими людьми в составе эскадрильи, в армии, на заводе или в спортивной команде, человек, забывая о самом себе, обретает себя. «Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты,

совершают восхождение на одну и ту же вершину»[15]. Именно потому, что товарищи по общему делу верят человеку, а он хочет быть достойным их доверия, он и становится в полном смысле слова человеком.

И, даже находясь вдали от своего отряда, он будет хранить в своем сердце эту потребность в понимании и одобрении своих товарищей. Затерянному в снегах, дошедшему до крайнего изнеможения Гийоме мучительно хотелось лечь на землю и уснуть последним сном: «Товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь…»[16]. Впрочем, эта мужская дружба, это товарищество в свою очередь отличается суровостью: «Когда товарищ умирает… это никого не удивляет, – таково наше ремесло». И все же ни один вновь приобретенный друг не сможет заменить погибшего товарища: «Старых друзей наскоро не создашь!»[17]

Какую роль играет в этом героическом мире женщина? В произведениях Киплинга женщина выступает либо как подруга в опасностях и трудах («Голод»), либо как соблазнительница, отрывающая человека от его призвания («История семейства Гэдсби»)[18]. Порой в романах Сент-Экзюпери на заднем плане проходят жены летчиков – нежные, любящие, покорно обрекшие себя на жизнь, связанную с постоянным ожиданием человека, которого каждый день подстерегает смерть. В былые времена человек действия идеализировал женщину, с которой он был разлучен. Так, крестовые походы вызвали к жизни Прекрасных дам, Знатных дам средневековых героических песен. Но, когда наблюдаешь за героями Сент-Экзюпери, начинает казаться, что у летчика гораздо меньше времени грезить об отсутствующей возлюбленной, чем у солдата или моряка. Для летчика опасность более постоянна. Если глохнет мотор – это смерть. Если во время полета на большой высоте засорится баллон с кислородом, летчик засыпает вечным сном. Что для такого человека далекие города и женщины? Всего лишь остановка в пути. Юная девушка, которую мельком видит герой, на мгновение волнует его своей строгой красотою («Военный летчик»). Но что делать? Ему ведь надо лететь дальше.

Летчик отличается от всех других людей действия еще и тем, что мир его необычайно абстрактен. Когда смотришь на землю с огромной высоты, она кажется как бы пустой. Девять часов из десяти самолет парит над океаном, или над пустыней, или над джунглями. Между Марракешем и Дакаром людей так мало, что чудится, будто они еще не вполне осели на земле. Между Дакаром и Бразилией вообще нет следов человека. Да и в самой Бразилии – множество заболоченных мест и лесов, где никогда не

ступает нога человека. Для воздушного путешественника климат и времена года – понятия неустойчивые. Он переходит от весны к зиме, а еще через несколько часов возвращается к лету. Жизнь для него поистине сон. Ей присущи безрассудство и внезапные перемены, свойственные сновидениям. Сент-Экзюпери рассказывает, что когда он впервые опустился на землю Африки, то пробыл там всего 30 секунд. Его уже ожидал другой самолет, к которому он, едва приземлившись, сразу же подрулил, подчиняясь сигналу. «Вы тотчас же отправитесь во Францию с почтой», – сказал ему начальник, и Сент-Экзюпери немедленно улетел. Разве Африка может быть для летчика такой, какой она была для спаги или стрелка колониальных войск? Для летчика многие города – всего лишь взлетное поле, место для посадки. Где бы он ни побывал – в Мельбурне или Чунцине, в Калькутте или Нью-Йорке, в Тунисе или Рио-де-Оро, – он увидит только взлетные дорожки, ангары, бензовозы, песок, утрамбованный грунт, да еще, быть может, несколько деревьев вдалеке.

Реальность для него – в другом месте. Реальность человеческого общества – это эскадрилья, это товарищи по воздушной линии; что касается реальности природы, то ее он познает с помощью самолета. Он познает ее, как крестьянин: «Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет – орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам»[19].

Состояние моря, морские течения, различные предвестники бурь, ясность небосвода – все это ведомо и понятно моряку, потому что он должен думать о спасении деревянного или металлического корпуса своего корабля. Летчик же привыкает вопрошать облака, ямы на воздушных дорогах и неровности почвы. Обратите внимание на то, как в книге «Планета людей» опытный летчик описывает Испанию своему товарищу, которому предстоит в первый раз лететь над этой страной. Он говорит не о городах, не о людях, но о каком-то ручье, который коварно размывает луг, о трех апельсиновых деревьях, что мешают приземлению, о стаде баранов, которое опасно своим неистовством. Перечтите строки об отступлении 1940 года; вот как оно выглядело с высоты птичьего полета: «И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока»12. Когда летчик говорит о людской реке, то для него это не

поэтический образ, а просто точное и правдивое описание того, что он видит. Любое описание приобретает смысл только тогда, когда человек смотрит сквозь призму своей профессии. Летчик мыслит масштабами созвездий и континентов. Ну а что может знать о мире, скажем, чиновник?

«Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты – человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир – через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам»[20].

Человек действия – поэт в самом высоком смысле слова, ибо он «тот, кто создает, тот, кто творит»[21]. Я любил слушать, как Сент-Экзюпери (на этот раз я говорю уже о человеке, а не о писателе) описывал какое-нибудь событие. Порой – даже находясь в обществе друзей – он долго хранил молчание. Внезапно, когда кто-нибудь касался волновавшей его темы, он оживлялся и стремительно вступал в разговор. Разбирая какую-нибудь проблему стратегии или даже политики, он делает ее очень ясной и простой, потому что видит все как бы с высоты. Он говорит, как ученый, прибегая к самым точным словам и неоспоримым доводам. Но в то же время он говорит, как поэт. Люди и даже неодушевленные предметы словно оживают в его речах. Фраза течет свободно, она разделена на короткие периоды, никогда она не походит на ораторский оборот, она, точно жест, подтверждает мысль. Образы поражают новизной и неожиданностью, часто они берут начало в его профессии. Окружающие с восхищением слушают его до той минуты, когда, окончив свою поэму или

завершив цепь доказательств, Сент-Экз вновь погружается в безмолвие, начинает показывать карточные фокусы или затягивает песню. Ибо существует еще один закон героического деяния: оно порождает людей, которым очень трудно приноравливаться к светским и социальным условностям.

III. Творчество

Можно ли назвать его книги романами? Едва ли. От произведения к произведению элемент вымысла в них все сокращается. Скорее это эссе о деянии, о людях, о Земле, о жизни. Декорация почти всегда изображает летное поле. И дело тут не в стремлении писателя прослыть специалистом, а в его тяге к искренности. Ведь именно так живет и мыслит автор. Отчего же ему не описывать мир сквозь призму своей профессии, коль скоро именно таким способом он, как всякий летчик, вступает в контакт с окружающим миром.

«Южный почтовый» – это самая романтическая книга Сент-Экзюпери. Летчик Жак Бернис, пилот компании «Аэропосталь», возвращается в Париж и встречает там подругу своего детства – Женевьеву Эрлен. Муж у нее человек посредственный; ее ребенок умирает; она любит Берниса и соглашается уехать с ним. Но почти тотчас же Жак понимает, что они не созданы друг для друга. Чего он ищет в жизни? Он ищет «сокровище», в котором заключена истина, «ключ к разгадке» жизни. Сначала он надеялся найти его в женщине. Неудача. Позднее он, как Клодель, надеялся найти его в Соборе Парижской богоматери, куда Бернис зашел, потому что он чувствовал себя слишком несчастным; но и эта надежда обманула его. Быть может, ключ к разгадке лежит в ремесле? И Бернис упорно, мужественно везет почту в Дакар, летя над Рио-де-Оро. Однажды автор находит труп Жака Берниса – летчика сразили пули арабов. Но почта была спасена. Она будет доставлена в Дакар в установленный срок.

«Ночной полет» относится к южноамериканскому периоду жизни Сент-Экзюпери. Для того, чтобы почта, полученная из Патагонии, из Чили, из Парагвая, вовремя прибыла в Буэнос-Айрес, пилотам компании «Аэропосталь» приходится лететь ночью над нескончаемыми горными хребтами. Если там их настигает буря, если они сбиваются с пути, они обречены. Но их начальник, Ривьер, знает, что на такой риск необходимо идти. Вместе с Ривьером, вместе с одним из инспекторов, Робино, вместе с женой летчика Фабьена мы следим за продвижением трех самолетов во время грозы. Один из них, самолет Фабьена, сбивается с курса. Перед ним словно смыкаются цепи Кордильер. У летчика остается всего на полчаса горючего, он понимает, что надежды больше нет. И тогда он поднимается к звездам, туда, где нет ни одного живого существа, кроме него самого. Завоеватель легендарных сокровищ, Фабьен погибнет. Молодая женщина, зажженная ею лампа, с такой любовью приготовленный обед

тщетно будут ожидать его. Тем не менее, Ривьер, который также на собственный лад любил Фабьена, с холодным отчаянием занимается отправкой почты в Европу. Ривьер прислушивается к тому, как трансатлантический самолет «возникнет, пророкочет и растает», словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд. Стоя перед окном, Ривьер думает:

«Победа… поражение… эти высокие слова лишены всякого смысла… Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы… Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий.

Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом – решение всех задач.

Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет.

Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы»[22].

«Планета людей» – это прекрасный сборник эссе, некоторые из них имеют форму новеллы. Рассказ о первом полете над Пиренеями, о том, как старые, опытные летчики приобщают к ремеслу новичков, о том, как во время полета происходит борьба с «тремя изначальными божествами – с горами, морем и бурей»[23]. Портреты товарищей автора: Мермоза, исчезнувшего в океане, Гийоме, который спасся в Андах благодаря своему мужеству и упорству… Эссе о «Самолете и планете», небесные пейзажи, оазисы, посадка в пустыне, в самом стане мавров, и рассказ о том дне, когда, затерявшись в ливийских песках, точно в густой смоле, сам автор едва не умер от жажды. Но сюжеты сами по себе мало что значат; важнее то, что человек, который обозревает с такой высоты планету людей, знает: «Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека»[24]. За последние двадцать лет слишком много писателей прожужжали нам уши разговорами о слабостях человека. Наконец-то нашелся писатель, который говорит нам о его величии. «Ей-богу, я такое сумел, – восклицает Гийоме, – что ни одной скотине не под силу!»[25]

Наконец, «Военный летчик». Эта книга написана Сент-Экзюпери после короткой кампании – и поражения – 1940 года… Во время немецкого наступления во Франции капитан де Сент-Экзюпери и экипаж самолета получают от своего начальника, майора Алиаса, приказ совершить разведывательный полет над Аррасом. Вполне возможно, что во время этого полета их встретит смерть, смерть бесполезная, так как им поручено собрать сведения, которые они уже никому не смогут передать, – дороги

будут безнадежно забиты, телефонная связь прервана, генеральный штаб переместится в другое место. Отдавая приказ, майор Алиас и сам знает, что приказ этот бессмыслен. Но что тут можно сказать? Никому и в голову не приходит сетовать. Подчиненный отвечает: «Слушаюсь, господин майор… Так точно, господин майор…» – и экипаж отправляется на выполнение ставшего бесполезным задания.

Книга состоит из размышлений летчика во время полета к Аррасу, а затем, во время его возвращения, посреди рвущихся вокруг вражеских снарядов и висящих над ним вражеских истребителей. Размышления эти возвышенны. «Так точно, господин майор…» Почему майор Алиас посылает своих подчиненных, которые являются в то же время его друзьями, на бессмысленную гибель? Почему тысячи молодых людей согласны погибнуть в ходе сражения, которое, судя по всему, уже проиграно? Потому что они понимают: участвуя в этом безнадежном бою, они поддерживают дисциплину в армии и укрепляют единство Франции. Они хорошо знают, что им не удастся за несколько минут, совершив несколько героических поступков и, принеся в жертву несколько жизней, превратить побежденных в победителей. Но они знают также, что поражение можно превратить в отправной пункт на пути к возрождению нации. Почему они сражаются? Что ими движет? Отчаяние? Вовсе нет.

«Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы – ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, – я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне:

– Курс сто семьдесят пять, господин капитан…

И я возьму этот курс»[26].

Так размышлял французский летчик в ожидании гибели над охваченным пламенем Аррасом; и до тех пор, пока у таких людей будут такие мысли, и пока они будут излагать их столь возвышенным языком, французская цивилизация не погибнет. «Слушаюсь, господин майор…» Сент-Экз и его товарищи не скажут ничего другого. «Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра

для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна»[27].

Испытываешь крайнее изумление, что нашлись критики, которые сочли эту прекрасную книгу «пораженческой». А вот я не знаю другой книги, которая вселяла бы большую веру в будущее Франции.

«Поражение… Победа… (повторяет автор вслед за Ривьером). Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие – пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице»[28].

Французские семена прорастут. Они уже пустили ростки с той поры, когда был написан «Военный летчик», и новая жатва близится. И Франция, которая долго страдала, терпеливо ожидая новой весны, сохраняет признательность Сент-Экзюпери за то, что он ни разу не отрекся от нее.

«Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни сделали. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения…

Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров[29], Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется, слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.

Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью; я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены…»[30].

Признавать свою собственную, а не только чужую ответственность за поражение – это не пораженчество; это справедливость. Призывать французов к единству, которое сделает возможным будущее величие, – это не пораженчество; это патриотизм. «Военный летчик», без сомнения, останется в

истории французской литературы книгой столь же значительной, как «Рабство и величие солдата».

Разумеется, я не стану даже пытаться «объяснить» «Маленького принца». Эта «детская» книга для взрослых изобилует символами, и символы ее прекрасны, потому что они кажутся одновременно прозрачными и туманными. Главное достоинство произведения искусства заключается в том, что оно выражает само по себе, независимо от абстрактных концепций. Кафедральный собор не нуждается в комментариях, как не нуждается в аннотациях звездный небосвод. Я допускаю, что «Маленький принц» – некое воплощение Тонио-ребенка. Но подобно тому, как «Алиса в Стране Чудес»[31] была одновременно и сказкой для девочек, и сатирой на викторианское общество, так и поэтическая меланхолия «Маленького принца» заключает в себе целую философию. «Короля тут слушают лишь в тех случаях, когда он приказывает сделать то, что и без этого осуществилось бы; фонарщика тут уважают потому, что он занят делом, а не самим собою; делового человека тут осмеивают, так как он полагает, что можно «владеть» звездами и цветами; Лис тут позволяет приручить себя, чтобы различать шаги хозяина среди тысяч других. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – говорит Лис. – Люди покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей»[32].

«Маленький принц» – творение мудрого и нежного героя, у которого было много друзей.

Теперь следует поговорить о «Цитадели», посмертно изданной книге Сент-Экзюпери: он оставил для нее множество набросков и заметок, но у него не хватило времени, чтобы отшлифовать это произведение и поработать над его композицией. Вот почему так трудно судить об этой книге. Сам автор, несомненно, придавал «Цитадели» большое значение. То был как бы итог, обращение, завещание. Жорж Пелисье, который был в Алжире близким другом Сент-Экза, утверждает, что в этом сочинении следует видеть квинтэссенцию мыслей писателя; он сообщает нам, что первый набросок носил заглавие «Владыка берберов» и одно время Сент-Экзюпери хотел назвать эту поэму в прозе «Каид»[33], но затем вернулся к первоначальному варианту заглавия, «Цитадель». Еще один из друзей писателя, Леон Верт[34], пишет: «Текст «Цитадели» – всего лишь оболочка. И самая внешняя. Это собрание заметок, записанных с помощью диктофона, заметок устных, заметок беглых… «Цитадель» – это импровизация».

Другие высказывались более сдержанно. Люк Эстан, который

так восхищается Сент-Экзюпери, автором «Ночного полета» и «Планеты людей», признается в том, что он не приемлет «этот монотонный речитатив восточного владыки-патриарха». А ведь этот «монотонный речитатив» занимает сотни страниц. Кажется, что неумолимо течет песок: «Набираешь в горсть песку: искрятся красивые блестки, но они тотчас же исчезают в монотонном течении, в котором увязает и читатель. Внимание рассеивается: восхищение уступает место скуке». Это правда. Уже сама природа произведения таит в себе опасность. Есть нечто искусственное в том, что современный нам житель Западной Европы усваивает тон, присущий книге Иова. Евангельские притчи возвышенны, но они лаконичны и полны тайны, между тем как «Цитадель» растянута и дидактична. В этой книге, конечно же, есть кое-что от «Заратустры»[35] и «Речей верующего» Ламенне, конечно же, ее философия остается философией «Военного летчика», но нет в ней жизненного стержня.

И все-таки блестки, остающиеся в тигле после чтения этой книги, из чистого золота. Ее тема в высшей степени характерна для Сент-Экзюпери. Старый владыка пустыни, который делится с нами своей мудростью и опытом, был в прошлом кочевником. Затем он понял, что человек может обрести мир, только если он воздвигает свою цитадель. Человек испытывает потребность в собственном крове, в своем поле, в стране, которую он может любить. Груда кирпичей и камней – еще ничто, ей не хватает души зодчего. Цитадель возникает, прежде всего, в сердце человека. Она соткана из воспоминаний и обрядов. И самое главное – хранить верность этой цитадели, «ибо мне никогда не украсить храм, если я каждое мгновение начинаю возводить его заново». Если человек рушит стены, желая обрести этим свободу, он сам уподобляется «полуразрушенной крепости». И тогда им овладевает тревога, потому что он перестает ощущать свое реальное существование. «Мои владения – это не стада, не поля, не дома и не горы, это нечто совсем иное, это то, что главенствует над ними и связует их воедино».

И цитадель и жилище скреплены узами определенных отношений. «И обряды занимают такое же место во времени, какое занимает жилище в пространстве». Хорошо, когда время также представляет собою как бы некое сооружение и человек постепенно переходит от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от одного сбора винограда к другому. Уже Огюст Конт, а вслед за ним Ален доказывали важность церемоний и торжественных обрядов, ибо без этого, считали они, не может существовать человеческое общество. «Я вновь учреждаю иерархию, – говорит владыка пустыни. – Сегодняшнюю

несправедливость я преобразую в завтрашнюю справедливость. И таким путем я облагораживаю свое царство». Сент-Экзюпери, подобно Валери, восхваляет условности. Ибо если уничтожить условности и забыть о них, человек снова становится дикарем. «Несносный болтун» упрекает кедр за то, что он не пальма, он хотел бы уничтожить все вокруг и стремится к хаосу. «Однако жизнь противится беспорядку и стихийным наклонностям».

Такая же строгость и в вопросах любви. «Я замыкаю женщину в браке и повелеваю побивать камнями неверную супругу, уличенную в прелюбодеянии». Разумеется, он понимает, что женщина – существо трепетное, она вся во власти мучительного желания быть нежной и потому взывает к любви во мраке ночи. Но тщетно станет она переходить из шатра в шатер, ибо ни одному мужчине не дано удовлетворить ее желания полностью. А раз так, для чего разрешать ей менять супруга? «Я спасаю только ту женщину, которая не преступает запрета и дает волю своим чувствам лишь в мечтах. Я спасаю ту, которая любит не любовь вообще, а лишь того мужчину, чей облик воплотил для нее любовь». Женщина также должна воздвигнуть цитадель в своем сердце.

Кто так повелевает? Владыка пустыни. А кто повелевает владыкой пустыни? Кто диктует ему это почтение к условностям и прочным узам? «Упрямо я поднимался к богу, чтобы вопросить его о смысле вещей. Но на вершине горы я обнаружил только тяжелую глыбу черного гранита, она-то и была богом». И он молит бога вразумить его. Однако гранитная глыба остается непроницаемой. И должна вовеки пребывать такой. Бог, который разрешает себя разжалобить, – уже не бог. «Он уже не бог и тогда, когда прислушивается к молитве. Впервые в жизни я постиг, что величие молитвы состоит прежде всего в том, что она не находит отклика, в том, что это общение между верующим и богом не омрачается неприглядной сделкой. И урок молитвы – это урок молчания. И любовь возникает только тогда, когда уже не ждут дара. Любовь – это, прежде всего, упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании».

Вот, быть может, последнее слово мистического героизма.

IV. Философия

Были люди, которым хотелось бы, чтобы Сент-Экзюпери удовольствовался тем, что он писатель, небесный путешественник, и они говорили: «Зачем он постоянно пытается философствовать, когда он отнюдь не философ». А вот мне как раз нравится, что Сент-Экзюпери философствует.

«Надо думать с помощью своих рук», – писал некогда Дени де Ружмон[36]. Летчик думает с помощью всего своего тела и с помощью своего летательного аппарата. Самый прекрасный образ, созданный Сент-Экзюпери, даже более прекрасный, чем образ Ривьера, – это образ человека, чье мужество исполнено такой простоты, что рассказывать о его мужественных поступках было бы смешно.

«Ошедэ – бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и, прежде всего, за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться»[37].

Мужество не может возникнуть в результате ловко составленной речи, оно рождается из своего рода наития, которое становится действием. Мужество – это реальный факт. Дерево – это реальный факт. Пейзаж – это реальный факт. Мы могли бы мысленно разъять на составные части эти понятия, прибегнув к анализу, но это было бы пустым занятием и только нанесло бы им ущерб… Для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно.

Сент-Экзюпери относится пренебрежительно к отвлеченному мышлению. Он мало верит в различные идеологические построения. Он бы охотно повторял вслед за Аленом: «Для меня всякое доказательство заранее порочно». Как могут абстрактные понятия заключать в себе истину о человеке?

«Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды – значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная,

дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе не подозревал, – значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело – объяснить жизнь, пусть выкручивается как угодно…»[38]

Что же такое истина? Истина – это не доктрина и не догма. Ее не постигнешь, присоединившись к какой-нибудь секте, школе или партии. «Истина человека – то, что делает его человеком»[39].

«Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества думает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым – и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники…

К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтоб в каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но, если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд.

Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми»[40].

Тот, кто создал столь относительное представление об истине, не может упрекать других людей за то, что их верования отличны от его собственных. Если истина для каждого – это то, что его возвеличивает, тогда вы и я, хотя мы и поклоняемся разным богам, можем ощутить между собою близость благодаря общему пристрастию к величию, благодаря нашей общей любви к самому чувству любви. Интеллект только тогда чего-нибудь стоит, когда он служит любви.

«Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. Зерно кедра, так или иначе,

превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения…»[41].

О человеке не следует спрашивать: «Какой он придерживается доктрины? Какому он следует этикету? К какой партии он принадлежит?» Главное: «Что он за человек», а не что он за индивид. Ибо в счет идет человек, принадлежащий к той или иной социальной группе, стране, цивилизации. Французы начертали на фронтонах своих общественных зданий: «Свобода, равенство, братство». Они были правы: это прекрасный девиз. Но при том условии, прибавляет Сент-Экзюпери, если сознают, что люди могут быть свободны, равны и могут чувствовать себя братьями только в том случае, если кто-то или что-то их объединяет.

«Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне – значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места»[42].

В этом же смысле можно сказать: «Солдат и его командир равны в нации». Верующие были равны в боге.

«Выражая бога, они были равны в своих правах. Служа богу, они были равны в своих обязанностях.

Я понимаю, почему равенство в боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядков. Демагогия возникает тогда, когда за отсутствием общей веры принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации».

И наконец, братство.

«Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я – братья в группе 2/33. Французы – братья во Франции»[43].

Подведем итог: жизнь человека действия полна опасности; смерть все время подстерегает его; абсолютной истины не существует; однако жертвенность формирует людей, которые станут владыками мира, ибо они – владыки самих себя. Такова суровая философия летчика. Достойно удивления, что он

извлекает из нее некую форму оптимизма. Писатели, проводящие жизнь за письменным столом, в которых медленно остывает жар души, становятся пессимистами, потому что они изолированы от других людей. Человеку действия неведом эгоизм, потому что он сознает себя частью группы товарищей. Боец пренебрегает мелочностью людей, ибо он видит перед собою важную цель. Те, кто вместе трудится, те, кто разделяет общую ответственность с другими, поднимаются над враждою.

Урок Сент-Экзюпери все еще остается живым уроком. «Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда»[44], – говорит Маленький принц; он говорит также: «И когда ты утешишься (в конце концов, всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом»[45].

Мы рады, что знали его когда-то; и мы всегда будем ему друзьями.

Репортажи *(Антуан де Сент-Экзюпери)*

Москва

Под гул тысячи самолетов Москва готовится праздновать годовщину революции

Позавчера вечером, в канун 1 Мая, я бродил по улицам ночной Москвы и смотрел, как она готовится к необычайному празднеству.

Город превратился в строительную площадку. Одни бригады украшали дома и памятники лампочками, флагами и красными полотнищами; другие отлаживали прожекторы, третьи суетились прямо на Красной площади, возя тачки с булыжником, ровняя мостовую. Ревностная ночная работа кипела повсюду – шла большая игра, танцевался трудный молчаливый танец вокруг костров. Ветер надувал огромные красные полотнища на фасадах домов, и казалось, парусники готовы тронуться в путь, все сдвинулось с места, пустилось в странствие к неведомым горизонтам.

Мужчины и женщины работали, не останавливаясь. Те самые мужчины и женщины, числом около четырех миллионов, что послезавтра пройдут колонной по площади перед Сталиным, воздавая всем городом ему честь.

Вот на стену подняли огромное, похожее на памятник, панно: на фоне заводов, словно вырубленный топором, Главный мастер, и я решил не спеша обойти вокруг Кремля, где, быть может, мастер уже спит, где, быть может, тоже готовятся к празднику.

– Проходите!

Охрана днем и ночью бдит над запретным кварталом, где обитает Хозяин. Оказывается, вдоль красных стен гулять запрещено. Как же оберегают этого человека!

Не только стены и часовые охраняют крепость, что похожа на город и вмурована в город, – внутри Кремля, между стенами и зданиями, темными, поблескивающими золотом, зеленеют откосы-ловушки. Зеленый безмолвный пояс окружает Сталина, ни один человек не проскользнет через него незамеченным, любое появление покажется взрывом.

Тихо, пустынно. Легко вообразить, что Сталин не существует вовсе, до такой степени он незрим.

Однако спящий сейчас под охраной часовых, зеленых откосов, стен, воодушевляет незримым присутствием всю Россию, действует на нее, как бродило, как дрожжи. И если никто не видит самого вождя, сотни тысяч его портретов висят на

московских улицах. Нет магазинной витрины, ресторана, театра без портрета, нет стены, с которой бы он не смотрел. И мне кажется, я разгадал причину такой удивительной популярности.

Поначалу, я думаю, Сталин показался русским безжалостным угнетателем. Он навис над Россией, когда люди пытались спастись, кто как мог: одни бегством за границу, другие грабежом, третьи спекуляцией. Сталин запер голодных и отдал приказ: «Не трогайтесь с места! Стройте! Голод и нужда – враги, которых можно уничтожить на месте, нося камни, копая землю». Так он повел народ к земле обетованной, и эту обетованную землю заставил родиться на месте пустоши, отказавшись от исхода на тучные пастбища, отказавшись от миражей, порожденных авантюристами.

Удивительная, необычная власть. В один прекрасный день Сталин объявил, что только тот достоин имени человека, кто не пренебрегает своим внешним видом, небритые лица признак распущенности. На следующий же день после изданного декрета мастера на заводах, заведующие отделами в магазинах, преподаватели факультетов отправляли домой работников и студентов, явившихся со щетиной на подбородке.

– Времени не было, не успел, – оправдывался студент.

– Добросовестный студент, – отвечал преподаватель, – всегда найдет время, чтобы оказать честь главному.

Так, буквально в один день, Сталин одарил Россию свежими помолодевшими лицами, одним махом вытащил ее из грязи.

Такой вот, согласимся, весьма необычный был заключен договор.

На московских улицах я видел только свежевыбритых милиционеров, солдат, официантов, прохожих.

Верится, что волшебная палочка планирования коснется однажды и одежды москвичей, тогда улицы Москвы посветлеют, а пока кепки и рабочая одежда горожан придают ей что-то щемяще серое. Не кажется невероятным, что в один прекрасный день Сталин из глубин Кремля отдаст приказ: уважающий себя пролетарий одевается к ужину. И в этот день Россия сядет ужинать в смокингах.

Таков спящий сейчас в Кремле человек-невидимка, он покажется соотечественникам только послезавтра.

На собственном горьком опыте я убедился, что появление бога из табакерки дело непростое: мне отказали в пригласительном билете на Красную площадь. Чтобы попасть туда, нужно было приехать гораздо раньше, так как каждый приглашенный заполняет особую анкету, после чего подвергается тщательной и суровой проверке. У меня не достало времени

запустить в действие административную машину, задействовать посольство, попросить помощи у друзей, а собственные мои усилия не привели ни к чему. В радиусе с километр вокруг Сталина не может появиться ни один человек, чье гражданское положение и прошлое не было бы тщательно проверено, перепроверено и для надежности проверено в третий раз.

Ранним утром Первого мая я спустился, собираясь пройтись по городу, но нашел дверь гостиницы запертой. Мне сообщили, что откроется она только в пять часов вечера. Те, у кого не было пригласительного билета, оказались пленниками.

Грустно слонялся я по гостиничным коридорам и вдруг услышал рокот грозы. Но то была не гроза – летели самолеты. Тысяча самолетов летела над Москвой, и земля сотрясалась. Не видя, я ощущал тяжесть железного кулака, нависшего над Москвой. Я решил непременно выбраться из гостиницы и выбрался не совсем честным путем.

Улица оказалась до странности пустынной – ни машин, ни прохожих, и только несколько ребятишек играли на мостовой. Я поднял глаза к небу и увидел стальные треугольники, они нависали над узкой полосой доступного мне пространства, не исчезая. Жесткий порядок, в котором летели самолеты, требовал необычайной слаженности. Неспешное продвижение темных треугольников, громогласный торжествующий неумолчный рокот тысячи летящих самолетов действовал подавляюще, не было человека, который не ощутил бы их властной мощи. Они летели и летели, а я, прислонившись спиной к стене, смотрел на них и понял одно: несколько самолетов *летят*, множество самолетов *надвигаются*, словно лава.

Я прошел еще несколько мертвых улиц, обошел несколько оцеплений и добрался, наконец, до улицы живой – по ней текли демонстранты к Красной площади. Она была запружена вся, от края до края. Толпа продвигалась медленно, неотвратимо, шаг за шагом, и тоже была похожа на темную лаву. В шествии целого города, в перелете тысячи самолетов есть та же неумолимость, что и в единодушном решении присяжных. Медленное шествие людей в темных одеждах с красными флагами, не ведающих о своей силе, впечатляло больше, чем маршировка солдат, солдаты исполняют свою работу, покончив с ней, становятся разными людьми. Эти же были едины во всем – в рабочей одежде, плоти, мыслях. Я видел, что они движутся вперед и тогда, когда остановились на месте.

Стояли они долго. Для прохода на Красную площадь открыли, как шлюзы, несколько других улиц, и на этой должны были подождать. И люди ждали, стоя на ледяном холоде, – вчера

вечером шел снег. И вдруг произошло чудо. Чудом было обретение человечности, единое целое рассыпалось на живых людей.

Послышались звуки аккордеона. Музыканты, рассеянные в толпе с трубами и тарелками, тоже встали в круг и заиграли. Толпа, желая, наверное, и согреться, и развлечься, и попраздновать, пустилась в пляс. Десятки людей, мужчин и женщин, у входа на Красную площадь, сразу утратив напряжение целеустремленности, улыбаясь во весь рот, танцевали, и улица стала доброй и симпатичной, похожей на улицу парижского предместья в ночь на 14 июля.

Незнакомец окликнул меня и протянул сигарету, второй дал огонька: люди выглядели счастливыми…

Но вот толпа заволновалась, музыканты убрали инструменты, демонстранты подняли вверх флаги, выстроились в ряды. Распорядитель одной из колонн протолкнул женщину вперед, помогая занять ей в ряду свое место 41. Помощь была последним человеческим, семейным жестом, и вот уже все подтянулись, посерьезнели и зашагали к Красной площади, толпа вновь обрела монолитность, готовясь предстать перед Сталиным.

По пути в Советский Союз

Ночью в поезде среди шахтеров-поляков, возвращавшихся на родину, спал маленький Моцарт, похожий на сказочного принца.

Я рассказал о первомайской Москве, куда приехал в канун праздника. Отдал дань сиюминутности. А должен был бы описать сначала, как добирался до России. Рассказать о дороге – предисловии, что готовит нас к пониманию страны. Атмосфера международного поезда, и та что-то приоткрывает. Полями и перелесками мчится ночью не поезд – средство проникновения и постижения. Мчится по прямой через Европу, а ее сотрясает дрожь тревоги и гнева. Проникновение, казалось бы, по касательной дается легко, но и благодаря ему удается заметить невидимые раны.

Полночь, лежу на полке в купе, светит синеватый ночник, я просто еду. Постукивают колеса. Металл, дерево передают мне это постукивание, оно похоже на биение сердца. Снаружи что-то происходит. Изменяется качество звука. На мосту громче становится скрежет. На просторных вокзалах звук утекает, будто в песок. Больше пока я ничего не знаю.

Тысячи пассажиров спят в купе, перемещаясь с той же легкостью, что и я. Им так же тревожно, как мне? Скорее всего, мне не удастся добраться до того, чего я ищу. Не экзотики, ей я

не доверяю. Я слишком много странствовал, чтобы не знать, как она поверхностна. Происходящее кажется нам зрелищем, интригуя и вызывая любопытство до тех пор, пока мы смотрим на него со стороны, как чужие. Пока не понимаем сути. Назначение обычаев, обрядов, правил игры в том, чтобы придавать жизни вкус, наполнять ее смыслом. И если обычаи обладают такой возможностью, они уже не причудливы, они так просты, так естественны.

И все-таки каждый смутно чувствует сокровенную суть путешествия. Для всех нас в нем есть что-то похожее на свидание, незнакомая женщина движется нам навстречу. Она не видна в толпе, мы должны ее отыскать. Женщина неотличима пока от всех других. И кто знает, может быть, нам придется заговорить с тысячью женщин, потерять понапрасну время и все-таки не встретиться с той, которая бы открылась нам, потому что мы не сумели ее угадать. Да. Именно таково путешествие.

Я решил осмотреть свое пристанище – дом, пленником которого сделался на три дня, обреченный днем и ночью слушать, как море перекатывает гальку. Я поднялся со своего места.

Час ночи. Я прошел поезд из конца в конец. Спальные вагоны пусты. Пусты купе первого класса. Вспомнились роскошные отели Ривьеры, может, какой-то из них и откроется разок за зиму, чтобы приютить одного-единственного постояльца, представителя исчезающего вида, знаменующего, что времена неблагополучны.

Зато вагоны третьего класса набиты сотнями уволенных рабочих поляков, они возвращаются к себе в Польшу. Я продвигался узкими коридорами, которые образовали изгибы лежащих тел. Останавливался, смотрел на спящих. Стоя в вагонах без перегородок с запахом казарм или тюрем, я наблюдал в свете ночников, как сотрясает уснувших скорый поезд. Спящие видели скверные сны, возвращаясь в свою нищету. Большие бритые головы мотались на деревянных скамейках. Мужчины, женщины, дети постоянно ворочались, словно шумы и тряска, вторгаясь в их ненадежное забытье, чем-то им грозили. В милосердии крепкого сна им было отказано. Мне показалось, что им отказали и в праве быть людьми, отдав на волю экономических сквозняков, которые оторвали и унесли их от маленьких домиков с палисадниками на севере Франции, от горшков с геранями на подоконниках, – я заметил, что герани всегда цветут на окнах у шахтеров-поляков. Они собрали лишь кухонную утварь, одеяла и занавески, кое-как увязав их в узлы и мешки. Но всех, кого они гладили, любили, с чем сжились за четыре-пять лет во Франции, – кошек, собак, герани они с болью отсекли от себя, подхватив лишь узлы с кастрюлями.

Младенец сосал материнскую грудь, а мать до того устала, что, похоже, спала. Жизнь не иссякала и в нелепом хаосе их перемещения. Я посмотрел на отца. Голый череп каменной тяжести. Спит тревожно, ему неудобно, тело сковано грубой одеждой, которая топорщится горбами. Похоже, лежит груда глины. Бродяга из тех, что ночуют, прячась в рыночных прилавках. Я подумал:

«Я ведь не о нищете, не о грязи, не о некрасивости. Этот мужчина и эта женщина когда-то познакомились. Мужчина наверняка улыбнулся женщине. Он наверняка после работы принес ей цветы. Застенчивый, неуклюжий, он, возможно, боялся, что его отвергнут. А она, не сомневаясь в своей женской прелести, возможно, из присущего женщинам кокетства, мучила его. И у мужчины, который стал теперь инструментом, лопатой, кувалдой, от волнения сладко заходилось сердце. Как же он сделался грудой глины, вот загадка. Какие жернова перемололи его и изуродовали? Олень, газель, любое животное, состарившись, не теряют природной стати. Почему же так искажается добротное человеческое естество?»

Я двинулся дальше, пробираясь среди тревожно спящих людей. Неспокоен был даже воздух, слышался храп, хрипы, невнятные стоны, стук башмаков, – у людей затекали руки и ноги, и они переворачивались на другой бок…

А море все шуршало и шуршало галькой…

Я присел напротив семейной пары. Примостившись между мужчиной и женщиной, спал ребенок. Он повернулся во сне, и свет ночника упал на его лицо. До чего хорош! Среди кривых ветвей сияло золотое яблочко. Неуклюжая тяжесть скопила красоту и изящество. Я наклонился, чтобы разглядеть получше безупречно гладкое личико, красиво очерченный рот. Я сказал себе: «Вот лицо музыканта, это маленький Моцарт, чудесное обещание, подаренное жизнью!» Он был точь-в-точь как маленький принц из средневековой легенды. Если заботиться о нем, баловать, учить, кто знает, чего он сможет добиться? Когда в саду, благодаря чудесам мутации, вдруг расцветает необычная роза, сбегаются все садовники. Ее окружают заботой, ухаживают, берегут. Но нет садовников для людей. Маленького Моцарта тоже переработают жернова. Лучшее, что услышит этот Моцарт, будут расхлябанные песенки в дешевом кафе-шантане, пропахшем табаком. Моцарт обречен…

Я вернулся к себе в вагон. И вот с какими мыслями:

«Эти люди привыкли к нищете. И меня томит вовсе не жажда благотворительности. Я не ищу мази, которая смягчила бы боль незаживающей раны. Они истекают кровью, но боль их не мучает.

А меня мучает урон, который нанесен человеческой сути, не одному человеку – весь наш род терпит ущерб. Не жалость щемит мне сердце, жалости не доверишься. Забота садовника мешает мне спать этой ночью. Я опечален не бедностью, с бедностью сживаются так же, как сживаются с бездельем. На Востоке люди живут в грязи, и грязь им в радость. Печалит меня то, чему не поможет бесплатный суп. Печалят не горбы, не дыры, не безобразие. Печалит, что в каждом из этих людей погасла искорка Моцарта».

Я снова у себя в купе. Проводник окликает меня. Вагон покачивает, и проводник покачивается вместе с ним, в синеватом свете ночника лицо у него восковое. Проводник тихо задает вопрос. Ночью в поезде кто бы ни заговорил, кажется, он открывает тайну. Меня он спросил, во сколько завтра меня разбудить. Какая тут тайна, казалось бы. И все-таки я что-то для себя открыл. Очень важное. Явственно ощутил, что мы с проводником замкнуты каждый в своем мире, между нами пустота, мы отгорожены друг от друга. В городе не до человека. Людей нет, есть функции: почтальон, продавец, сосед, который мешает. Человеком дорожишь в пустыне. Самолет потерпел аварию, и я долго брел, отыскивая форт Ноутшот. Он чудился мне в миражах, возникавших в бреду от жажды. В конце концов, я добрался до форта, там, в полном одиночестве, долгие месяцы жил старик-сержант, – от волнения он расплакался. Я тоже. И под необъятным покровом ночи каждый из нас рассказал другому свою жизнь, передал в дар груз воспоминаний, благодаря которым люди понимают: они родня. В пустыне встретились два человека и почтили друг друга дарами, достойными двух послов.

Вагон-ресторан. Чтобы до него добраться, я вновь прошел по вагонам, где ехали поляки. Днем все выглядело совершенно иначе. Ночная правда днем не видна. Люди собрались, прибрались, вытерли детям носы, расселись компаниями. Они смотрят в окно, они шутят. Кто-то тихонько напевает. Трагедии больше нет. Посмотрев на этих людей при свете дня, можно жить совершенно спокойно. Их тяжелые грубые руки умеют только копать. Они не мучают себя умозрениями, они созданы своей участью, и эта участь подходит им как нельзя лучше.

Я мог бы порадоваться, глядя, как они достают из промасленной бумаги еду, как незатейливо веселятся. Мог бы успокоить себя, сказав, что социальных проблем не существует. Люди эти грубы и похожи на камни. Но ночная магия показала мне, что в глубине породы может спать маленький Моцарт…

Вагон-ресторан мчит равнинами и лесами. За окнами уже тощая земля, скудные леса, похожие на мех, траченный молью.

Вагон-ресторан приближается к центру Германии. Сегодня вагон-ресторан немецкий. Официанты обслуживают нас с прохладной вежливостью знатных сеньоров. Интересно, почему официанты, будь они поляки, немцы, русские, держатся с аристократической величавостью? Почему, оказавшись за пределами Франции, убеждаешься всякий раз, что французы одрябли?

Откуда взялось во Франции пошловатое запанибратство предвыборных кампаний? Почему людям стала безразлична их работа, почему не интересна общественная жизнь? Почему они спят? Лучший пример безразличия – провинциальные торжества: министр перед памятником неведомому выскочке целый час расточает ему похвалы, читая речь, которую сам не писал, а толпа слушает его, не слыша. Все играют в игру, все притворяются. И думают как один о банкете.

Но вот ты пересек границу и видишь, что люди всерьез заняты своей деятельностью. Официанты вагона-ресторана в безупречных фраках безупречно подают на стол. Министр, открывая памятник, умеет найти слова, которые задевают людей. Слова зажигают сердца, и открытие самого незначительного памятника окружают крепким каркасом полиции, опасаясь подземного огня. Игра играется не впустую.

Так-то оно так, но во Франции так приятно живется, и друг другу мы все как родные… Шофер такси своим запанибратством сразу принимает вас в друзья, а уж до чего расположены к вам официанты на улице Рояль! Они знакомы с половиной Парижа, со всеми ее секретами, раздобудут для вас самый потаенный телефон и, если понадобится, одолжат сто франков, а когда распускаются почки, они оборачиваются к старым клиентам, чтобы и те порадовались радостной вести, которую они готовы сообщить:

– Смотрите-ка, ведь весна пришла…

Все противоречиво. Беда, если сделаешь выбор, если откроешь для себя, куда движется жизнь. Эта мысль пришла мне во время разговора с немцем, он сидел напротив меня и говорил: «Если Франция и Германия объединятся, они будут заправлять всем миром. Почему французы боятся Гитлера, он же оплот против России? Он поможет здешнему народу стать свободным народом. Он из тех, кто строит, после таких в городах остаются прямые проспекты, носящие их имя. Гитлер – воплощенный порядок».

А за столом я сижу с испанцами, они так же, как я, едут в Россию и заранее полны энтузиазма. Я слышу их разговор о Сталине. О пятилетнем плане. Обо всем, что там расцветает… Пейзаж, тем временем, опять изменился. Как только пересечешь

французскую границу, весна занимает тебя чуть меньше, зато судьбы людей, похоже, волнуют чуть больше.

Москва! А где же революция?

Через полчаса после того, как мы пересекли границу России, наш скорый замедлил ход. Он будто выдохся. Я закрыл чемодан, нам предстояло пересесть на другой поезд, и я стоял в коридоре, уткнув нос в окно и мечтая. Польша останется во мне воздухом, скрипящим песком и черными елями. Увезу и воспоминание о скудном побережье.

Чем ближе мы к северу, тем интереснее раскрашивает все свет. В тропиках свет яркий, но рисовать он не умеет. Там есть свет, и в ослепительном свете черные предметы. Даже небо кажется черным. А здесь все вокруг оживает, поблескивает. Этим вечером свет устроил елкам безмолвный праздник, посеребрив их. Ели – деревья невеселые, но они дружат со светом, а пожар в еловом лесу напоминает ураган. Я вспоминаю еловые леса у себя в ландах, они не сгорали, они улетали.

Поезд мягко замедляет ход у платформы…

Мы в России: Негорелое.

Что за предубеждение настроило меня на мысль о разрухе? В помещении таможни можно устраивать празднества. Просторное, проветриваемое, с позолотой. В привокзальном ресторане не меньший сюрприз. Тихонько наигрывает цыганский оркестр, среди кадок с растениями стоят небольшие столики, за ними обедают посетители. Действительность обманывает мои ожидания, и я становлюсь подозрительным. Все это устроено для иностранцев. Да, вполне возможно. Но таможня в Белгороде тоже для иностранцев, а там она похожа на складской двор.

Разумеется, я могу допустить, что мне втирают очки, но поскольку я сейчас не судья, а обычный иностранец, у которого досматривают багаж, то я ничего не имею против, чтобы его досматривали в чистоте.

Мой сосед настроен не так добродушно.

«Я понимаю, вы у себя хозяева, и не могу помешать вам пачкать мое белье…»

Таможенник посмотрел на него и вновь с непоколебимым спокойствием принялся перебирать вещи у него в чемодане. Он до того спокоен, что даже не считает нужным проверять их с нарочитым пристрастием. Не ощущает надобности подчеркивать свою власть. И я чувствую вдруг – за его спиной стоят сто шестьдесят миллионов человек, они его опора. Россия огромна, и я остро чувствую мощь поддержки. Сосед потерялся перед

спокойствием таможенника. Его натиск закончился ничем, точно так же, как натиск целой армии, встреченной безмолвием и снегом. Сосед умолк.

Потом, расположившись в московском поезде, я пытаюсь рассмотреть в темноте, что же за окном. Передо мной страна, о которой если говорят, то говорят с пристрастием. О которой из-за пристрастий мы не знаем почти ничего, хотя Советский Союз совсем недалеко от нас. Мы куда лучше знаем Китай, у нас есть точка зрения на него, и с этой точки зрения мы его обсуждаем. Мы никогда не спорим из-за Китая. Но если мы обсуждаем Советский Союз, мы обязательно впадаем в крайности – восхищаемся или негодуем. В зависимости от того, что ставим на первое место: созидание человека или уважение прав личности.

Но пока передо мной не стоит никаких проблем. Дверь в эту страну открыл передо мной вежливый таможенник. Наигрывал цыганский оркестр. А в вагоне-ресторане меня встретил самый стильный, самый подлинный из метрдотелей.

Наступило утро, вагон слегка лихорадит близость прибытия. На уплывающей земле появились домики. Домиков все больше, стоят они все теснее. Выстраивается сеть дорог, впереди манит некий центр. Пейзаж стягивается в узел. Узел – Москва, она главная среди этих пятен.

Поезд поворачивает, и перед нами открывается столица, вся целиком, как целостная панорама. А над Москвой самолеты, я пересчитал их, – семьдесят один.

Первое впечатление – огромный, живой, кипящий пчелами улей, и над ним жужжащий, гудящий рой.

Жорж Кессель встретил меня на вокзале, подозвал носильщика, и воображаемый мир лишился еще одного призрака – носильщик самый обыкновенный, как везде. Он уложил мои чемоданы в такси, а я, прежде чем сесть, огляделся вокруг. Увидел просторную площадь, по гладкому асфальту катят, рыча, грузовики. Увидел цепочку трамваев, как в Марселе, и неожиданно заметил совсем провинциальную картинку: толпа ребятишек и солдат окружила разносчика мороженого.

Потихоньку меня избавляли от наивной веры в сказку. Я уразумел, что шел неверной дорогой, ждал таинственных знаков, каких и быть не могло. С детским простодушием я искал революционности в носильщике, в устройстве витрины. Хватило двухчасовой прогулки, чтобы избавить меня от иллюзий. Не стоило искать революции там, где искал ее я. Обыденная жизнь ничем меня больше не удивит. Я не буду удивляться юным девушкам, которые будут отвечать мне: «У нас в Москве не принято, чтобы девушка одна приходила в бар». Или: «В Москве

тоже целуют руки женщинам, но не во всех слоях общества». Не удивлюсь, если мои русские друзья отменят обед, потому что кухарка попросила отпустить ее навестить больную мать. На собственных просчетах я вижу, как постарались исказить предпринятый русскими эксперимент. Совершенно в другом нужно искать жизнь Советского Союза. По другим приметам можно открыть, как глубоко эта почва была перепахана революцией. Хотя улицы и здесь по-прежнему будут мостить мостильщики, а заводами управлять директора, а не кочегары.

И если у меня будет еще день или два на знакомство с Москвой, то я ничему не буду удивляться. Не откроешь Москву на перроне. Город не посылает к приезжим послов. Только президенты республик обнаруживают на вокзале маленькую эльзаску в национальном костюме. Только президенты республик целуют разнаряженную малышку и сразу постигают душу города. Только они радостно делятся своим нежданным открытием в приветственной речи, держа малышку на руках.

Преступление и наказание перед лицом советского правосудия

Первое, что сказал судья, едва началась наша беседа в его кабинете, – показалось мне и самой главной его мыслью:

«Не в том дело, чтобы наказывать, а в том, чтобы исправлять».

Говорил он так тихо, что я наклонился, чтобы расслышать, между тем его руки осторожно разминали невидимую глину. Глядя далеко поверх меня, он повторил:

«Надо исправлять».

Вот, подумал я, человек, не знающий гнева. Он не удостаивает себе подобных признанием того, что они действительно существуют. Люди для этого судьи – хороший материал для лепки, и как не чувствует он гнева, так не чувствует и нежности. Можно прозревать в глине свое будущее творение и любить его большой любовью, но нежность рождается только из уважения к личности. Нежность свивает гнездо из мелочей – забавных черточек лица, пустяшных причуд. Теряя друга, оплакиваешь, быть может, это его несовершенство.

Этот судья не позволяет себе судить. Он как врач, которого ничто не поражает. Он лечит, если может, а если не может, то, служа всему обществу, расстреливает. Приговоренный заикается, на его губах страдальческая гримаса; у него ревматизм, и от этого он так смиренно близок нам, – но все это не вызовет милосердия судьи.

И я догадываюсь уже, что за великим неуважением к отдельному человеку здесь стоит великое уважение к человеку вообще, длящемуся из века в век поверх отдельных человеческих жизней и созидающему великое. А виновный, думаю я, здесь больше ничего не значит.

Я понимаю теперь, почему русское законодательство, так часто карающее смертью, не предусматривает заключения больше чем на десять лет и допускает всяческие снижения этого срока. Если отступник может вернуться в лоно общества, он вернется и раньше. Зачем же продлевать наказание, если наказанный уже стал другим человеком? Ведь и с арабским вождем, признавшим наши законы, мы обращаемся как с равным. Так что само понятие наказания здесь, в СССР, потеряло смысл.

У нас говорят, что осужденный расплачивается за свой долг. И каждый год искупления – выплата по некоему незримому счету. Долг может оказаться неоплатным – и тогда осужденному отказывают в праве снова стать человеком. И пятидесятилетний каторжник все еще платит за двадцатилетнего мальчика, которого гнев однажды толкнул на убийство.

Судья продолжает, будто размышляя вслух:

«Если надо вызвать страх, если преступления против общества множатся, и речь уже идет об эпидемии, – мы караем более сильно. Когда армия разлагается, мы расстреливаем для примера. И тот, кто двумя неделями раньше получил бы три года исправительных работ, расстается с жизнью за мелкий грабеж. Но мы остановили эпидемию, мы спасли людей. Если что и кажется нам аморальным – то не эта жестокость в случаях, когда общество в опасности, а заключение заключенного в рамки одного-единственного слова. Разве убийца является убийцей по своей природе, на всю жизнь, как негр – на всю жизнь негр? Убийца – всего лишь истерзанный человек».

Руки судьи все лепят и лепят невидимую глину.

«Исправлять, исправлять, – говорит он. – Мы достигли на этом пути больших успехов».

Попробую встать на его точку зрения. Представляю себе гангстера или сутенера, их мир со своими законами, своей моралью, своей жестокостью и самоотверженностью. Признаю: человеку, прошедшему такую школу, не стать деревенским пастухом. Он не сможет без приключений, без ночных засад. Без упражнения способностей, выработанных в нем его жизнью, – будь то решительность, смелость, быть может, талант вожака. Он будет чувствовать себя ущемленным, сколько ни тверди о преимуществах добродетели. Жизнь накладывает свой отпечаток. Проститутки тоже отмечены печатью своего ремесла и не

слишком позволяют обратить себя в другую веру: они сжились с тоской изматывающего и горького ожидания, с ледяным и скорбным вкусом рассвета, с самим страхом своим, наконец, со свежим рогаликом – лучшим другом в пять утра, в час замиренья с полицией и всем этим непокорным, враждебным городом, в час, когда распутывается хитросплетенье ночных угроз. Кто знает вкус беды? Те и другие стали собой на войне, а потому их не прельстит мир. Тем более – мир, основанный на совести. Но вот перед нами чудо. Этих воров, сутенеров, убийц вытаскивают из каторжной тюрьмы, словно из гигантского бака, и отправляют под охраной нескольких ружей рыть канал от Белого моря до Балтийского. Вот и снова приключение для них, да еще какое!

Им предстоит, пахарям-исполинам, провести борозду от моря до моря, глубокую, как овраг, под стать морским кораблям. Возвести соборы стройплощадок и встретить земляные пласты, оползающие с откосов выемки, лесом мощных брусьев, трещащих, точно солома, под напором сил Земли. С приходом ночи они возвращаются в бараки под прицелом карабинов. И густая усталость разливается мертвой тишиной над этим народом, разбившим лагерь на самом переднем крае своего пути, лицом к еще не тронутым землям. И мало-помалу людей захватывает эта игра. Они так и живут бригадами, управляют ими свои инженеры и мастера (ведь в тюрьме оказываются и они). Во главе встают те из них, кто лучше умеет предъявить свой дар вожака.

– Да, в том, что касается основ правосудия, я согласен с вами, господин судья. Но нескончаемая борьба, постоянный надзор, внутренний паспорт, порабощение человека коллективом – вот что кажется нам недопустимым.

И, однако, я начинаю понимать и это. Они требуют, чтобы люди не только подчинялись законам созданного здесь общества, но и жили ими. Они требуют, чтобы люди объединялись в единый социальный организм не только по видимости, но и всем сердцем. И только тогда они ослабят дисциплину. Один мой приятель рассказал мне прекрасную историю, она немного прояснит, в чем тут дело.

Опоздав на поезд в каком-то далеком маленьком городке, он устроился ближе к вечеру в зале ожидания местного вокзала, между узлов с пожитками, среди которых попадались неожиданные предметы, вроде самоваров; он подумал, что это вещи отъезжающих. Но наступила ночь, и один за другим в зал стали возвращаться хозяева всего этого скарба. Они шли не спеша, умиротворенные обыденностью происходящего. В лавочках по дороге они купили все необходимое и теперь собирались варить овощи. Воцарился дух доверия, как в старом

семейном пансионе. Кто-то пел, кто-то вытирал нос ребенку. Мой приятель спросил у начальника вокзала:

– Что они тут делают?

– Ждут, – ответил тот.

– Чего ждут?

– Разрешения ехать.

– Ехать куда?

– Просто ехать, сесть на поезд.

Начальник вокзала не был этим удивлен.

Они просто хотели ехать. Неважно куда. Чтобы исполнить свое предназначение. Чтобы открыть для себя новые звезды: эти, здешние, казались им траченными временем. Мой приятель сперва восхитился их терпением: два часа в этом зале ожидания представлялись ему уже невыносимыми, три дня свели бы его с ума. Но эти люди потихоньку пели и мирно склонялись над самоварами; и тогда он снова подошел к начальнику вокзала и спросил:

– А давно они ждут?

Начальник приподнял фуражку, почесал лоб и огласил плод своих подсчетов:

– Пожалуй, лет пять или шесть.

Потому что у многих русских – душа кочевника. Они не слишком привязаны к своему жилью, им не дает покоя древняя азиатская страсть к странствиям – караваном, под светом звезд. Это племя вечно устремляется на поиски: Бога, правды, будущего… А дом – привязывает к земле, и от него освобождаются легко, как нигде.

Как постигнуть это равнодушие, приехав из Франции, где маленький домик на краю поля, потихоньку прядущий тонкую шерстяную ниточку дыма, обладает таким могущественным притяжением? Где судебный исполнитель, выселяя вас, вторгается в самую плоть, разрывая тысячи незримых уз? Во Франции невозможно вообразить жителей Севера, заполонивших вокзалы и опьяненных зовом Прованса: на Севере любят свой родной туман. А здесь…

Здесь любят огромный мир. Здесь живут, быть может, не столько в доме, сколько в мечте. Нужно приучить этих людей к земле. Нужно приучить их к земному. И власть борется с этими вечными странниками. С внутренним зовом тех, кто заметил звезду. Нужно не дать им пуститься в странствия – к северу, к югу, по воле незримых приливов и отливов. Нужно не дать им пуститься в странствия вновь, к какому-то новому общественному строю – ведь Революция уже свершилась. Не от звезд ли занимаются пожары в этой стране?

И тогда строят дома, чтобы приманить кочевников. Не сдают жилье, а продают его. Вводят внутренний паспорт. А тех, кто поднимает глаза к небу с его опасными знаками, отправляют в Сибирь, где надо еще выжить зимой в 60 градусов мороза.

Так, может быть, создают нового человека – стойкого, влюбленного в свой завод и коллектив, как садовник во Франции влюблен в свой сад.

Трагическая гибель самолета «Максим Горький»

«Максим Горький», самый большой в мире самолет, разбился. Он шел на посадку, когда его задел истребитель, летящий на скорости более четырехсот километров в час.

Одни говорят, что задето было крыло, другие – центральный мотор, но доподлинно известно, что охваченный огнем самолет начал падать. Затем почерневшие крылья, мотор, фюзеляж неспешно разъединились в воздухе. Скорость падения, – и та, казалось, была сдержанной. Зрителям и свидетелям показалось, что они наблюдают за головокружительным скольжением или за торжественным погружением подбитого торпедой корабля.

Самолет весом сорок две тонны обрушился на деревянный дом, поджег его и раздавил, обитатели его погибли. Одиннадцать человек экипажа вместе с великим пилотом Журовым и тридцатью пятью пассажирами погибли тоже.

Воздушная катастрофа унесла сорок восемь человек. Размах крыльев «Максима Горького», гордости русского воздушного флота, был шестьдесят три метра, длина – тридцать два метра. Восемь моторов, шесть из которых были вмонтированы в крылья, обладали мощностью семь тысяч лошадиных сил. Скорость полета достигала двухсот шестидесяти километров. На самолете был поставлен мощный радиопередатчик, и его голос, несущийся с облаков к тем, кто слушал его на земле, перекрывал рев восьми моторов.

За день до катастрофы я летал на «Максиме Горьком». Я был первым иностранцем, который удостоился такой чести. И последним… Меня долго заставили ждать необходимого разрешения и, когда я уже потерял всякую надежду, во второй половине дня принесли разрешение. Я уселся в носовом салоне и оттуда наблюдал за взлетом. Самолет мощно вздрогнул, и я почувствовал, как быстро монумент поднимает в воздух свое основание весом в сорок две тонны. Мягкость взлета меня поразила.

Пока мы разворачивались, чтобы лететь к Москве, я отправился на прогулку. С чистой совестью называю осмотр

прогулкой, потому что во время полета осмотрел одиннадцать основных отсеков, связанных между собой автоматической телефонной связью. Мало этого, телефонную связь дублировала система пневматической почты, обеспечивая возможность передавать еще и письменные распоряжения. Самолет потрясал своей величиной – помещения располагались не только внутри фюзеляжа, но и в крыльях. Я осмелился войти в коридор левого крыла и стал открывать одну за другой двери, выходящие в него. За дверями открывались комнатки, потом помещения для моторов, каждый мотор был изолирован от других. Меня догнал инженер и показал электростанцию. Электростанция снабжала током не только радиотелефон, громкоговоритель и взлетное устройство, но еще и восемьдесят осветительных точек, общей мощностью двенадцать тысяч ватт.

Я осматривал самолет уже четверть часа, погрузившись в его нутро, словно в трюм миноносца, и мне все время светил электрический свет. Я купался в неутомимом и победительном пении моторов. Навстречу мне попались телефонисты, я заметил, что есть помещения с кроватями, видел механиков в синих брезентовых костюмах. Но больше всего я изумился, когда обнаружил небольшой кабинет и в нем юную машинистку, которая печатала на машинке…

Но вот мне снова светит дневной свет. Москва медленно разворачивается под крылом. Бортовой командир, сидя в уголке салона, передает по телефону уж не знаю какие там распоряжения своим пилотам. С радиопоста по пневматической почте ему поступают сообщения. Все вместе создает ощущение сложного механизма, сложно организованной жизни, какой у меня в полете никогда не было.

Я уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Через спинку кресла до меня доходили послания восьми моторов. Я чувствовал, как струится по моему телу живая горячая вибрация. Мысленно видел перед собой электростанцию, снабжающую все вокруг светом, вспоминал отсеки с моторами, жаркие, словно печи. И снова открыл глаза.

В широкое окно салона проникал голубой свет, а я будто занял место на террасе дорогой гостиницы и сверху озирал землю. Привычное устройство тяжелого аппарата, в котором кабина пилота, бортовое оборудование и пассажирский салон составляют целое, в этом самолете отсутствовало. Отдельно салон управления, отдельно холл, где можно отдыхать, мечтать…

Назавтра самолета «Максим Горький» не стало. Его гибель переживается здесь как общенародное горе. Советский Союз потерял не только выдающегося пилота Журова и десять членов

его экипажа, не только тридцать пять пассажиров, работников конструкторского бюро ЦАГИ, для которых полет был наградой за отличную работу, Советский Союз потерял великолепное подтверждение жизненности его юной индустрии.

Я говорил с людьми, работающими в области авиации, и мне показалось, что их хоть немного, но утешает то, что причиной гибели гиганта была нелепая случайность. Драма произошла не из-за ошибки в расчетах инженеров, не из-за неопытности или неумелости рабочих, не от просчета экипажа. Во время уверенного спокойного полета «Максима Горького» его траекторию, прямую, как выстрел, пересек истребитель.

Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет…

Убедившись, что это и есть дом номер тридцать, я останавливаюсь перед большим унылым зданием. Сквозь подворотню виден длинный ряд дворов и построек. Вход в Сальпетриер[46], и тот не выглядит тоскливей. Такие муравейники – умирающая часть Москвы, в конце концов, их разрушат и возведут на их месте высокие белые дома.

За несколько лет население Москвы выросло на три миллиона жителей. Эти люди, за неимением лучшего, ютятся в квартирах, разгороженных на отдельные углы, и ждут нового жилья.

Система проста: группа преподавателей истории или, скажем, группа краснодеревщиков создают кооператив. Государство дает ссуду (ее надо будет выплачивать ежемесячно). Кооператив заказывает строительство своего дома государственной строительной организации. Каждый знает свою будущую квартиру, выбрал краску для стен, обсудил все тонкости обустройства. Каждый отныне терпеливо ждет в своей унылой комнате – в прихожей настоящей жизни (ведь это лишь на время!).

Новый дом уже растет из земли.

И они ждут – как ждали в бараках покорители новых земель.

Я уже познакомился с современным жильем, где личная жизнь вновь обретает краски. Но мне хотелось посмотреть своими глазами и на эти остатки мрачного прошлого, все еще многочисленные. Потому-то я и скользил, как тень, взад и вперед перед домом номер тридцать. Я еще смутно верил в тайных агентов, что по пятам следуют за иностранцами. Я боялся, как бы они не выросли вдруг прямо между мною и сокровенными

секретами СССР. Но, пройдя, наконец, через подворотню, я не уловил никаких предостерегающих знаков. Моя прогулка никого не интересовала. Проникнув в муравейник, я остановил первого встречного, чтобы узнать, где живет особа, которую я хотел непременно застать, хоть она и не подозревала о моем существовании, – имя у меня было тщательно записано:

«Где живет мадемуазель Ксавье?»

Первым встречным оказалась огромная тетка, тут же проникшаяся ко мне симпатией. Хлынул поток слов, из которого я ничего не понял: я не знаю русского. Моя робкая попытка что-то сказать вызвала волну дополнительных объяснений. Я не посмел обидеть бегством эту воплощенную любезность, но, желая показать, что не понимаю, дотронулся пальцем до уха. Тогда она решила, что я глухой, и принялась кричать вдвое громче.

Пришлось мне положиться на удачу: подняться по первой попавшейся лестнице и позвонить в первую же дверь. Меня провели в комнату. Мужчина, впустивший меня, заговорил по-русски. Я отвечал по-французски. Он долго рассматривал меня, потом повернулся и исчез. Я остался один. Вокруг было множество вещей: вешалка с пальто и кепками, пара ботинок на шкафу, чайник на фетровом чемодане. Где-то кричал ребенок, слышался смех, потом звуки патефона, в недрах квартиры скрипели, то ли закрываясь, то ли открываясь, двери. А я все оставался один в чужом доме, словно взломщик. Наконец, мужчина вернулся, и с ним – женщина в переднике, о который она вытирала мыльную пену с рук. Она заговорила со мной по-английски. Я отвечал по-французски. Оба они как будто приуныли и опять скрылись на лестнице; до меня доносился возрастающий шумок: за дверью набирало ход секретное совещание. Время от времени дверь приоткрывалась, незнакомые люди озадаченно меня разглядывали.

Надо полагать, решение было принято, и весь дом ожил. Послышались крики, беготня, наконец, дверь распахнулась настежь, и явилось новое лицо, на которое все участники сцены определенно возлагали большие надежды. Этот персонаж приблизился, представился и заговорил по-датски. Все были разочарованы.

Среди общего замешательства я по большей части размышлял о том, сколько усилий было затрачено, чтобы прийти сюда незаметно. Между тем толпа жильцов и я грустно смотрели друг на друга, пока в качестве специалиста по еще одному языку ко мне не подвели мадемуазель Ксавье собственной персоной. Это оказалась маленькая старая колдунья, худая, сгорбленная и морщинистая, со сверкающими глазами, – совершенно не

понимая, кто я и зачем пришел, она попросила меня следовать за ней. И все эти славные люди, сияя оттого, что меня удалось спасти, разошлись.

Теперь я у мадемуазель Ксавье и слегка волнуюсь. Их триста – француженок в возрасте от шестидесяти до семидесяти, затерянных, словно серые мышки, в этом четырехмиллионном городе. Прежние классные дамы или гувернантки при юных девицах прежних времен, они пережили Революцию. Невероятные времена. Прежний мир рухнул, будто огромный храм. Революция давила сильных и рассеивала слабых – игрушки бури – на все стороны света, но не тронула три сотни французских гувернанток. Они были такие маленькие, такие сдержанные, такие незаметные! В тени своих прекрасных воспитанниц они так давно привыкли оставаться невидимками! Они учили нежности французской речи, и прекрасные воспитанницы тотчас сплетали из самых нежных слов ловушки для блистательных женихов-гвардейцев. Старые гувернантки не знали, что за тайная власть у правописания и стиля, ведь сами они не пользовались своей наукой в делах любви. Учили они и манерам, музыке, танцам, делаясь от причащения этим тайнам лишь чопорнее, – а у юных воспитанниц эти тайны оборачивались чем-то легким и живым. И старые гувернантки старели вместе со своими черными одеждами, строгие и скромные, их присутствие оставалось незримым, как добродетель, как хороший тон и хорошее образование. И Революция, выкосившая самые лучезарные цветы, не коснулась, по крайней мере, в Москве, этих серых мышек.

Мадемуазель Ксавье 72 года, и мадемуазель Ксавье плачет. Я у нее первый француз за тридцать лет. Мадемуазель Ксавье повторяет в двадцатый раз: «Если бы я знала… если бы я знала… я бы так убрала комнату…». А я замечаю приоткрытую дверь и думаю о множестве посторонних обитателей этой квартиры, которые двенадцать раз донесут о нашей тайной встрече. Я все еще во власти романтических представлений. Мадемуазель Ксавье придает легенде реальные очертания.

– Это я нарочно открыла дверь! – гордо признается она. – У меня такой замечательный гость, все соседи будут завидовать!

И она с грохотом открывает шкафчик, звенят стаканы. Достает бутылку мадеры, печенье, снова гремит стаканами, звонко ставит бутылку на стол. Должен быть слышен шум оргии!

И я слушаю ее рассказ. Мне особенно любопытно, что она скажет о Революции: что значат великие потрясения для серой мышки? И как выжить, когда все рушится вокруг?

– Революция, – признается моя хозяйка, – это ужасно утомительно.

Мадемуазель Ксавье жила тем, что учила французскому дочку повара – за обед. Каждый день приходилось ехать через всю Москву. По пути она, чтобы еще чуть-чуть заработать, продавала по поручению знакомых стариков разные мелочи: губную помаду, перчатки, лорнеты.

– Это было незаконно, – доверительно сообщает она, – это считалось спекуляцией, – и рассказывает о самом страшном дне гражданской войны. В то утро ее попросили продать галстуки. Галстуки, в такой-то день! Но мадемуазель Ксавье не видела ни солдат, ни пулеметов, ни убитых. Она была слишком занята продажей галстуков, которые, говорит она, шли нарасхват.

Бедная старая гувернантка! Социальное приключение обошло ее, как прежде – приключение любовное. Приключениям она была не нужна. Так на пиратских кораблях, должно быть, можно найти несколько тихих стариков, вечно ничего не замечающих за штопкой матросских рубах.

Но однажды она все-таки угодила в облаву. Ее заперли в мрачном помещении среди двух или трех сотен попавших под подозрение. Вооруженные солдаты одного за другим вели их на допрос, отделявший живых от мертвых.

– Половину узников, – говорит мадемуазель Ксавье, – после допроса отправляли в подвал.

И что же? В эту ночь на лице приключения по-прежнему было написано снисхождение. Лежа на нарах, под которыми текла прямо в вечность черная вода, мадемуазель Ксавье получила на ужин кусок хлеба и три засахаренных орешка. Эти орешки, быть может, самое яркое свидетельство нищеты, – а можно взять и другую историю, с огромным концертным роялем красного дерева, который одна приятельница мадемуазель Ксавье продала тогда за три франка. Но у трех орешков, несмотря ни на что, был привкус игры и детства.

Приключение обошлось с мадемуазель Ксавье, как с маленькой девочкой. А между тем ее точила большая забота. Кому доверить перину, купленную ею в час ареста? Спала она на ней и на допросе тоже не захотела с ней расстаться. Прижимая необъятную перину к своему крохотному телу, предстала она перед судьями. И судьи тоже не приняли ее всерьез. Вспоминая о допросе, мадемуазель Ксавье вся дышит возмущением. Судьи сидели за обширным кухонным столом, окруженные солдатами; председатель, утомленный бессонной ночью, проверил ее документы. И этот человек, от которого неумолимо раздваивалась дорога – к жизни и к смерти, – этот человек робко спросил ее, почесывая ухо:

«У меня дочке двадцать лет, мадемуазель, – Вы не

согласитесь давать ей уроки?»

И мадемуазель Ксавье, прижав к сердцу перину, отвечала с сокрушительным достоинством:

«Вы меня арестовали. Теперь – судите. Если я останусь жива, завтра мы поговорим о Вашей дочери!»

А сегодня она добавляет, сверкнув глазами: – Они не смели на меня взглянуть от стыда!

И я уважаю эти восхитительные иллюзии. Я говорю себе: человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе. Нужно обладать определенной широтой личности, чтобы почувствовать высокий накал обстановки и уловить, что он означает.

Мне вспоминается рассказ жены одного моего знакомого. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу. Суденышко было забито до отказа, любой дополнительный груз потопил бы его. Оно медленно отходило от причала; трещина пролегла между двумя мирами – узкая, но уже непреодолимая. Стиснутая толпой на корме, молодая женщина смотрела назад. Разгромленные казаки вот уже два дня как хлынули с гор к морю, и поток их не иссякал. Но кораблей больше не было. Доскакав до причала, казаки спрыгивали с коней, перерезали им глотки, скидывали бурку и оружие и бросались вплавь к спасительному борту, столь близкому еще. Но с кормы по ним стреляли из карабинов. С каждым выстрелом на воде вспыхивала красная звезда. Скоро вся бухта была расцвечена этими звездами. Но лавины казаков, упорные, как в дурном сне, все выносились на причал, все резали глотки коням, все прыгали в воду и плыли до новой красной звезды…

А мадемуазель Ксавье нынче устраивает вечеринку – с десятью такими же французскими старушками, у той из них, чье жилье краше. Это прелестная маленькая квартира, вся расписанная хозяйкой. Я добыл для них портвейна и ликеров. Мы все чуточку захмелели и поем старинные песни. У старушек их детство встает перед глазами, они плачут, в душе им снова по двадцать лет (ведь они называют меня не иначе как «мой дружок»!). Я словно прекрасный принц, опьяненный славой и водкой, среди обнимающих меня маленьких старушек!

Появляется бесконечно важный господин. Это соперник. Он приходит сюда каждый вечер выпить чаю, отведать печенья, поговорить по-французски. Но сегодня он присаживается к уголку стола, суровый и полный горечи.

Однако старушки хотят показать мне его в полном блеске.

«Это русский, – говорят они, – и знаете ли, что он сделал?»

Я не знаю. Пробую догадаться. Новый гость напускает на себя

все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Это скромность большого барина. Но старушки окружают его, торопят:

«Ну же, расскажите нашему французу, что Вы делали в девятьсот шестом!»

Мой соперник играет цепочкой от часов, заставляя наших дам изнывать. Наконец он уступает, поворачивается ко мне и небрежно роняет, выделяя, впрочем, каждое слово:

– В девятьсот шестом я играл в рулетку в Монте-Карло.

И старушки, торжествуя, хлопают в ладоши.

Час ночи, пора и возвращаться. Мне устраивают пышные проводы. Я иду к такси, окруженный маленькими старушками. На каждой руке по старушке. Не слишком крепко стоящей на ногах. Сегодня я у них за дуэнью.

Мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо:

– В будущем году моя очередь получать квартиру, и мы все соберемся у меня! Вот увидите, как там будет мило! Я уже вышиваю салфетки.

Она тянется еще ближе к моему уху:

– Вы навестите меня раньше, чем остальных. Я буду первая, правда?

Мадемуазель Ксавье через год исполнится всего семьдесят три. У нее будет своя квартира. Она, наконец, начнет жить…

Испания в крови

В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны

Миновав Лион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них – широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу как бы на дне колодца.

Я один на борту, я смотрю вниз и вспоминаю. Здесь я жил несколько месяцев. В то время я испытывал гидросамолеты в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. После работы я возвращался в центр этого всегда по-воскресному праздного городка. Просторная площадь, кафе с оркестром, вечерний портвейн. Я сидел в плетеном кресле, а передо мной текла провинциальная жизнь. Она казалась мне такой же безобидной игрой, как игра в оловянных солдатиков. Принаряженные девушки, беспечные прохожие, безоблачное небо.

Вот и Пиренеи. Последний благополучный город остался позади. Вот Испания и Фигерас. Здесь люди убивают друг друга. Я бы не удивился, если бы обнаружил пожар, развалины, признаки человеческих бедствий: удивительно то, что ничего подобного здесь не видно. Город как город. Всматриваюсь: никаких следов на этой легкой кучке белого гравия. Церковь – мне это известно – сгорела, а она блестит на солнце. Я не вижу ее непоправимых увечий. Уже рассеялся бледный дым, унесший ее позолоту, растворивший в небесной синеве ее резной алтарь, ее молитвенники, ее утварь. Ни одна линия не нарушена. Да, город как город. Он сидит в центре расходящихся веером дорог, словно паук посреди своей шелковой сети. Как и другие города, он питается плодами долины, которые поступают к нему по белым дорогам. И передо мною только этот образ медленного всасывания пищи, которое на протяжении веков определило лицо земли, свело леса, размежевало пашни, протянуло эти дороги-пищеводы. Ее лицо никогда больше не изменится. Оно уже состарилось. И я думаю, что достаточно построить для пчелиного роя улей среди цветов, он раз и навсегда обретает мир. А вот человеческому рою покой не дарован.

Где же трагедия? Ее еще придется поискать. Ведь чаще всего она разыгрывается не на поверхности, но в человеческих душах. Даже в этом мирном Перпиньяне на больничной койке мечется страдающий раком, пытаясь ускользнуть от боли, как от безжалостного коршуна. И в городе уже нет покоя. Таково

чудесное свойство человеческой природы: любое страдание, любая страсть излучаются вовне и обретают всеобщее значение.

На каком бы чердаке человека ни снедал огонь желания, пламя его охватывает весь мир.

Вот, наконец, Херона, затем Барселона, и я потихоньку скольжу с высоты моей обсерватории. Но и здесь я не замечаю ничего необычного, разве что улицы пусты. И опять разоренные церкви кажутся нетронутыми. Угадываю вдали чуть заметный дымок. Может, это один из тех признаков, что я искал? Свидетельство той самой ненависти, которая так мало разрушила, была так бесшумна и которая, однако, опустошила все? Ведь в этой легчайшей позолоте, уносимой одним дуновением, – вся культура.

Да, с чистым сердцем можно спросить: «Где же террор в Барселоне? Где же этот испепеленный город, если сгорело каких-нибудь два десятка зданий? Где массовые убийства, если расстреляно всего несколько сотен из миллиона двухсот тысяч жителей?… Где же этот кровавый рубеж, за которым начинают стрелять?…»

Я и в самом деле видел мирные толпы гуляющих по Рамбла, а если мне и попадался вооруженный патруль, одной улыбки часто бывало достаточно, чтобы пройти дальше. Линии фронта с первого взгляда я так и не увидел. В гражданской войне линия фронта невидима, она проходит через сердце человека…

И все-таки в первый же вечер я оказался с нею рядом…

Только я устроился на террасе кафе среди нескольких разомлевших посетителей, как вдруг перед нами возникло четверо вооруженных мужчин. Они разглядывали моего соседа, потом молча навели карабины прямо ему в живот. Струйки пота побежали по его лицу, он встал и медленно поднял отяжелевшие, точно свинцовые руки. Один из патрульных обыскал его, пробежал глазами документы и подал знак следовать за ним. И человек оставил недопитый стакан, последний стакан в своей жизни, и пошел. И его руки, поднятые над головой, казались руками утопающего. «Фашист», – процедила сквозь зубы женщина за моей спиной: только она и осмелилась показать, что видела эту сцену. А недопитый стакан остался на столе свидетельством безумной веры в счастливый случай, в милосердие, в жизнь…

И я смотрел, как удаляется под прицелом карабинов тот, через кого только что в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.

Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне

Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему:

– Сойти с тротуара!

А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую…

Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит:

– Вы что, оглохли?

Восхитительно, не правда ли?

Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных «испаносюизах».

В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики. Они отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт. Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах… А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю:

– Что происходит?

– Рекогносцировка…

– Зачем?

– Ставим на крыше пулемет…

– Зачем же?

Пожимают плечами.

Утром по городу прошел слух: говорят, правительство попытается разоружить анархистов…

А я думаю, что оно откажется от этого намерения.

Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона – в каждом отеле есть свой гарнизон – и теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение.

– Где он? Я хочу отдать ему фотографию.

Смотрят на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются:

– Пришлось его расстрелять… Он донес на одного, что тот

фашист. Ну, раз фашист, мы его к стенке… А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник…

Им не откажешь в чувстве справедливости.

В час ночи, на Рамбла, слышу:

– Стой!

В темноте возникают карабины.

– Дальше нельзя.

– Почему?

Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их:

– Можете пройти, но берегитесь: тут, наверно, будут стрелять.

– Что происходит?

Не отвечают.

По улице медленно тянется колонна орудий.

– Куда это?

– На станцию, отправляются на фронт. Хотелось бы посмотреть на эту отправку.

Пытаюсь подольститься к анархистам.

– До станции далеко, а тут еще дождь… Может, вы дадите машину?…

Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквизированном «делаже».

– Мы вас подвезем…

И я качу к вокзалу под защитой трех карабинов.

Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться и повидаю их великого трибуна Гарсиа Оливера.

Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…

Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, на них под брезентами цвета сажи топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства – сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут немного ржавчины, дождливая ночь – и от станции остается один скелет.

Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и

пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков.

Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика. Только время от времени проскрежещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно.

У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде. В черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре, лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка.

Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает: «И мы пойдем на Сарагосу…».

Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Да-да, ощущение именно такое… Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…

Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы, – они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера – это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, которых они не могут распознать.

Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов… Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне враг сидит внутри человека, и воюют здесь чуть ли не против самих себя.

И поэтому, конечно, война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть – это инфекционный барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики. А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова: «Здесь больше нет коммунистов!» Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач…

А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах…

– К службе непригоден!

На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или

керосином. Никакого уважения к человеку. Проявления его духа и в том и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить, и улыбаться, и жертвовать собой, – это тело даже не собираются хоронить.

И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка, и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь, в самом деле – это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек – это чудо. И мертвых у нас вспоминают много лет…

Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие.

О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают меня, разглядывают, и в глазах у них какая-то серьезность с оттенком грусти. Они знают, что их ждет, если их схватят. И мне становится жутко. И я вдруг замечаю, что тут нет ни одной женщины. Это тоже понятно. На что тут смотреть матерям, которые, рожая сыновей, не знают ни того, какой лик истины их озарит, ни того, кто их расстреляет по законам своего правосудия, когда им минет двадцать лет.

В поисках войны

Вчера я приземлился в Лериде и выспался тут, в двадцати километрах от фронта, а утром отправился на фронт. Этот город, расположенный в районе военных действий, показался мне более мирным, чем Барселона. Автомобили катили спокойно, из них не торчали дула винтовок. А в Барселоне днем и ночью двадцать тысяч указательных пальцев положено на двадцать тысяч спусковых крючков. Эти грозно ощетинившиеся оружием метеоры неустанно проносятся сквозь толпу, и поэтому все без исключения граждане как бы взяты на прицел. Но они уже привыкли жить под наведенным в сердце оружием и спокойно занимаются своими делами.

Здесь никто не разгуливает, небрежно поигрывая пистолетом. Совсем нет этих довольно претенциозных аксессуаров, которые принято носить с потрясающей небрежностью, словно перчатку или цветок. В Лериде, фронтовом городе, люди серьезны: здесь уже не приходится играть в смерть.

И все-таки…

– Плотнее закройте ставни. Часовому напротив отеля приказано стрелять на свет.

Проезжаем в автомобиле по зоне войны. Баррикады встречаются все чаще, теперь мы то и дело вступаем в переговоры с революционными комитетами. С нашими пропусками считаются лишь кое-где.

– Вы что, хотите ехать дальше?

– Да.

Председатель комитета подходит к висящей на стене карте.

– Вам не удастся. В шести километрах мятежники оседлали дорогу. Придется вам объехать вот тут… Тут, кажется, свободно… Правда, утром говорили про кавалерию…

Разобраться в линии фронта невероятно трудно: свои деревни, вражеские деревни, деревни, то и дело переходящие из одного лагеря в другой. Эта чересполосица мятежных и республиканских участков наводит на мысль, что война ведется какими-то слабыми импульсами. Тут и намека нет на линию траншей, разделяющую противников с жесткой определенностью ножа. Впечатление такое, словно увязаешь в болоте. Здесь грунт твердый, там проваливаешься… И мы отправляемся в эту трясину… Сколько простора, сколько воздуха между очагами боев! Этой войне удивительно не хватает плотности…

На околице деревни тарахтит молотилка. В нимбе золотой пыли рабочие творят хлеб для людей, они широко улыбаются нам.

Какая неожиданность – этот прекрасный образ мира!.. Хотя вряд ли смерть нарушает здесь течение жизни. На ум приходит географический термин: один убийца на квадратный километр… и между двумя убийцами – неизвестно чья земля, чьи хлеба и виноградники. Долго вслушиваюсь в пение молотилки, неустанное, как стук сердца.

Снова упираемся в тупик. Дорогу преграждает стена из булыжника, и шесть винтовок наведены на нас. За стеной лежат четверо мужчин и две женщины. Впрочем, сразу замечаю, что женщины даже не умеют держать оружие.

– Проезда нет.

– Почему?

– Мятежники…

Нам показывают другую деревню в восьмистах метрах – точное повторение той, где мы находимся. Там, конечно, тоже баррикада – точная копия нашей. И, возможно, тоже молотилка, хлеб которой претворится в кровь мятежников.

Садимся на траву рядом с бойцами. Они кладут наземь винтовки и нарезают ломтями свежий хлеб.

– Вы здешние?

– Нет. Каталонцы из Барселоны, коммунисты…

Одна из девушек поднимается и, подставив волосы ветру, садится на баррикаду. Она чуть полновата, но свежа и красива. Улыбается нам, излучая радость:

– Останусь здесь после войны… В деревне куда лучше, чем в городе… Вот уж не думала!

И она восторженно осматривается, словно сделала открытие. Она знала только серые пригороды, дорогу на фабрику по утрам и ничтожные радости грустных кафе. А тут все вокруг кажется ей праздничным. Она вскакивает на ноги, бежит к роднику. И ей, конечно, представляется, что она пьет из самого лона земли.

– Воевали вы здесь?

– Нет, тут только мятежники иногда что-то затевают… Заметят у нас грузовик или людей и караулят на дороге… Но вот уже две недели как тихо.

Они поджидают своего первого врага. А в деревне, что напротив, шесть таких же бойцов тоже поджидают врага. И во всем мире только и есть что эти двенадцать воинов…

За два дня, проведенных на фронте в скитаниях по дорогам, я не услышал ни единого выстрела. Я ничего не увидел, кроме этих уже привычных дорог, которые никуда не ведут. Они как будто продолжались между другими хлебами и другими виноградниками, но там была уже иная вселенная. И нам они были недоступны, как те дороги в затопляемых странах, что с незаметным уклоном уходят под воду. На столбе еще можно было прочесть: «Сарагоса, 15 км». Но Сарагоса, как древний Ис, покоилась, недоступная, на дне морском.

В поисках войны нам, вероятно, повезло бы больше, если б мы добрались до тех главных пунктов, где грохочет артиллерия и командуют начальники. Но тут так мало войск, так мало начальников, так мало артиллерии! Мы, вероятно, могли бы добраться до этих участков, где пришли в движение массы людей, – есть на фронте узлы дорог, на которых сражаются и умирают. Но между ними остается свободное пространство. Повсюду, где я был, линия фронта – словно распахнутая дверь.

И хотя существуют стратеги, пушки, колонны войск, мне кажется, подлинная война происходит не здесь. Все ждут, когда, наконец, что-то родится в незримом. Мятежники ждут, не объявятся ли у них сторонники среди беспартийных в Мадриде… Барселона ждет, что после вещего сна Сарагоса проснется социалистической и падет. В движение пришла мысль: по сути дела, не солдат, а мысль осаждает города… Она – великая надежда, и она же – опаснейший враг. Мне кажется, несколько

этих самолетов и бомб, несколько снарядов и несколько бойцов сами по себе не могут одержать победу. Один обороняющийся в окопе противник сильнее сотни осаждающих. Но может быть, где-то пробирается мысль…

Время от времени затевают атаку. Время от времени трясут дерево… Не для того, чтобы выкорчевать его, а чтобы проверить зрелость плодов. Когда город созреет, он падет…

Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга

Когда я вернулся с фронта, приятели разрешили мне присоединиться к их загадочным экспедициям. И вот мы среди гор, в одной из деревушек, где мир уживается с террором.

– Да, мы их всех расстреляли, семнадцать…

Они расстреляли семнадцать «фашистов». Священника, его служанку, ризничего и четырнадцать местных «богатеев». Ведь все относительно! Стоит им вычитать из газет, как выглядит «властелин мира» Базиль Захаров, и они тут же переводят это на язык своих представлений. Они узнают в нем своего владельца парников или своего аптекаря. И когда они расстреливают этого аптекаря, они убивают в нем как бы частицу Базиля Захарова. И только сам аптекарь этого не понимает.

Теперь мы находимся среди своих, и здесь спокойно. Почти спокойно. Я только что видел в здешней харчевне последнего возмутителя спокойствия – он любезен, он улыбается, он так хочет жить! Он пришел сюда уверить нас, что, несмотря на несколько гектаров виноградников, которыми он владеет, он все-таки принадлежит к роду людскому, как все люди, страдает насморком, сморкается в голубой платок и немного играет в бильярд. Разве можно расстрелять человека, который умеет играть в бильярд? Играл он, впрочем, неважно, неуклюжие руки дрожали: он был встревожен, он еще не знал, считают ли его фашистом. И я представил себе несчастных обезьян, танцующих перед удавом, чтобы его умилостивить.

Но мы ничем не можем ему помочь. Сейчас, сидя на столе в помещении революционного комитета, мы пытаемся завести разговор на другую тему. Пока Пепен достает из кармана засаленные документы, я разглядываю этих террористов. Странное противоречие. Это славные крестьянские парни с ясными глазами. Повсюду мы встречаем такие же внимательные лица. Хотя мы всего лишь иностранцы без полномочий, нас неизменно встречают с серьезной предупредительностью.

Пепен говорит:

– Да… так вот… Его зовут Лапорт. Знаете такого?

Документ переходит из рук в руки, и члены комитета качают головами:

– Лапорт… Лапорт…

Я уже хочу вмешаться, но Пепен останавливает меня:

– Они знают, только не хотят говорить… – И небрежно добавляет: – Я французский социалист. Вот мой членский билет…

Теперь по рукам пошел билет. Председатель поднимает глаза на нас.

– Лапорт?… Что-то не помню…

– Ну как же! Французский священник… конечно, переодетый… Вы вчера схватили его в лесу… Лапорт… Его разыскивает наше консульство…

Болтаю ногами, сидя на столе. Ничего себе переговоры! Мы буквально у волка в пасти, в горной деревушке, откуда не менее ста километров до первого француза, и требуем у революционного комитета, который расстреливает даже служанок священников, чтобы нам в целости и сохранности возвратили самого священника.

И все же я не чувствую опасности. Их предупредительность не показная. С чего бы это им церемониться с нами? Мы ведь здесь беззащитны и вряд ли значим для них больше, чем отец Лапорт.

Пепен подталкивает меня локтем:

– Кажется, опоздали…

Председатель, покашляв, решается наконец:

– Утром мы обнаружили труп на дороге у околицы… Он, должно быть, еще там…

И он посылает человека якобы проверить документы.

– Они его уже расстреляли, – шепчет мне Пепен, – а жаль: могли бы вернуть. Тут славные ребята…

Смотрю прямо в глаза этим несколько необычным «славным ребятам». Я действительно не замечаю ничего внушающего тревогу. Меня не пугают их лица, которые, замыкаясь, становятся непроницаемыми, словно стены. Непроницаемыми, с чуть приметным оттенком скуки. Жуткий оттенок! Просто не верится, что наша столь щекотливая миссия спасет нас от подозрений. Как они отличают нас от «фашиста» из харчевни, танцующего танец смерти перед неумолимыми врагами – своими судьями? На ум приходит странная мысль, настойчиво внушаемая инстинктом: стоит только одному из них зевнуть, и мне станет страшно. Я почувствую, что человеческие связи разрушены…

Отъехали. Говорю Пепену:

– Мы побывали вот уже в трех деревнях, а я никак не пойму, опасно ли наше занятие…

Пепен смеется. Он и сам не знает. И все же он спас уже десятки людей.

– Правда, вчера был неприятный момент, – признается он. – Я вырвал у них одного картезианца, который буквально уже стоял у стенки… Ну, запах крови… они рассердились…

Конец истории я знаю. Как только Пепен – социалист и убежденный антиклерикал, – рискнув жизнью ради этого картезианца, оказался в машине, он повернулся к монаху и в отместку отпустил самое крепкое ругательство из своего лексикона:

– Черт побери этих б… монахов!

Пепен торжествовал. Но монах не слышал. Он бросился своему спасителю на шею, плача от счастья…

В следующей деревне нам вернули одного человека: четверо вооруженных крестьян с таинственной торжественностью извлекли его из погреба. Это был бойкий монах с живыми глазами, имя его я уже не помню. Переодет он крестьянином, в руке узловатая палка, вся в зарубках.

– Я отмечал дни… Целых три недели в лесу… Грибами сыт не будешь, я подошел к деревне, тут меня и схватили…

Деревенский староста, благодаря которому мы получили живую душу, сообщает не без гордости:

– Уж мы в него стреляли, стреляли. Думали – готов…

И в свое оправдание добавляет:

– Но дело-то ведь было ночью…

Монах смеется:

– Я ничуть не испугался!

И так как нам пора уезжать, начинается бесконечный обмен рукопожатиями с этими «славными» террористами. Особенно достается спасенному. Его поздравляют с тем, что он жив. И монах отвечает на поздравления с радостью, не скрывающей его задних мыслей.

А мне бы хотелось понять этих людей.

Проверяем список. Нам сообщили, что в Ситхесе находится человек, которому грозит расправа. Мы у него. Проникаем в дом, словно воры на мельницу. На указанном этаже нас встречает худощавый юноша.

– Вы, говорят, в опасности. Мы переправим вас в Барселону и вывезем на «Дюкене».

Юноша о чем-то долго размышляет.

– Я подведу сестру…

– Что?

– Она живет в Барселоне. Она не может платить за воспитание ребенка, я ей помогаю…

– Это другой вопрос… Вам угрожает опасность?

– Не знаю… Вот сестра…

– Хотите бежать или нет?

– Не знаю… А вы как считаете? В Барселоне у меня сестра…

Этот, невзирая на революцию, занят своей маленькой семейной трагедией. Он останется здесь и сыграет злую шутку со своей загадочной сестрой.

– Ну, как хотите…

И мы уходим.

Останавливаемся, выходим из машины. Где-то поблизости послышалась частая стрельба. Над дорогой возвышается небольшая роща. Из-за нее в пятистах метрах торчат две фабричные трубы. Патруль останавливается вслед за нами, бойцы вскидывают винтовки, спрашивают нас:

– В чем дело?

Прислушавшись, показывают на трубы:

– Это на заводе…

Стрельба смолкла, снова стало тихо. Чуть-чуть дымят трубы. Порыв ветра приглаживает траву, ничего не изменилось…

И мы ничего не ощущаем.

Однако в этой роще только что умирали. Наступившее безмолвие красноречивее стрельбы: раз она прекратилась, значит, не в кого больше стрелять.

Человек, быть может, целая семья только что переселилась из этого мира в другой. Они уже скользят над травами. Но этот вечерний ветер… Эта зелень… Легкий дымок… Вокруг мертвых все остается по-прежнему.

Я уверен, что смерть сама по себе ничуть не трагична. Глядя на буйную свежую зелень, я вспоминаю провансальскую деревушку, открывшуюся мне однажды за поворотом дороги. Прижавшаяся к своей колокольне, она выделялась на фоне сумрачного неба. Я лежал в траве и наслаждался покоем, когда ветер донес до меня звуки погребального колокола.

Он оповещал мир о том, что наутро будет предана земле сморщенная выцветшая старушка, завершившая свою долю трудов. И мне казалось, это медленная музыка, плывущая в воздухе, звучит не отчаянием, а сдержанным и нежным ликованием.

Колокол, что славил одним и тем же звоном крестины и смерть, возвещал о смене поколений, о движении рода людского. Над прахом он сызнова славил жизнь.

И, слушая звон во славу обручения бедной труженицы с землей, я испытывал только глубокую нежность. Завтра она впервые уснет под царственным покрывалом, расшитым цветами

и поющими цикадами.

Рассказывают, что среди убитых есть девушка, но это только слухи.

Какая жестокая простота! Покой наш не был нарушен этими глухими выстрелами в море зелени. Этой короткой охотой на куропаток. Эта гражданская панихида, прозвучавшая в листве, оставила нас спокойными, не вызвала мук совести…

Да, конечно, у событий человеческой жизни есть два лица – трагическое и бесчувственное. Все меняется в зависимости от того, идет ли речь об отдельном человеке или обо всем человеческом роде. В своих миграциях, в своем слепом движении род забывает умерших.

Потому, вероятно, и серьезны лица крестьян, – ясно, что они не кровожадны. И все же, возвращаясь с охоты, они скоро пройдут мимо нас, удовлетворенные расправой, безучастные к девушке, что споткнулась о корень смерти, – она, словно пронзенная на бегу копьем, покоится в лесу, и рот ее полон крови.

Я коснулся здесь противоречия, которое мне, конечно, не под силу разрешить. Величие человека определяется не только судьбами всего рода: каждый человек – это огромное царство.

Когда обваливается шахта, когда она смыкается над единственным шахтером, жизнь всего поселка висит на волоске. Товарищи, женщины, дети ждут в оцепенении, охваченные тревогой, пока спасательные команды перерывают под их ногами внутренности земли.

Разве дело в том, чтобы спасти единицу из толпы? Разве дело в том, чтобы вытащить человека, как вытаскивают лошадь, оценив, какую службу она еще может сослужить? Десяток товарищей того и гляди погибнет во время спасения – это же такой убыток! Нет, не в том дело, чтобы спасти одного муравья из муравьев муравейника, – спасают сознание, это огромное царство, не имеющее цены. В черепной коробке шахтера, над которым не выдержала крепь, заключен целый мир. Близкие, друзья, домашний очаг, теплая вечерняя похлебка, праздничные песни, ласка и гнев и, может быть, даже всечеловеческий порыв, великая всеобъемлющая любовь. Как измерить человека? Его предок когда-то нарисовал оленя на сводах пещеры, и спустя двести тысяч лет движение человеческой руки еще излучает тепло. Еще волнует нас. Продолжается в нас. Движение человека – это неиссякаемый источник.

И пусть нам суждено погибнуть, мы поднимем из шахты этого всечеловеческого, хоть и единственного шахтера.

Но вот, возвратившись вечером в Барселону, я сижу у приятеля и смотрю из окна на маленький разрушенный

монастырь. Обвалились своды, в стенах зияют огромные пробоины, взгляд проникает сквозь них в самые потаенные уголки.

И я невольно вспоминаю, как разрывал в Парагвае муравейники, чтобы проникнуть в их секреты.

Разумеется, для победителей, разрушивших этот храм, он был таким же муравейником. Удар солдатского сапога выбросил наружу маленьких монашенок, они забегали взад-вперед вдоль стен, и толпа не почувствовала этой трагедии.

Но мы-то не муравьи! Мы – люди. Над нами не властны законы числа и пространства. Физик в своей мансарде, завершая расчеты, держит на кончике пера судьбу целого города. Больной раком, проснувшийся ночью, – средоточие человеческого страдания. Может быть, один шахтер стоит того, чтобы погибла тысяча людей. Когда речь заходит о человеке, я отказываюсь от этой чудовищной арифметики. Пусть мне говорят: «Что значит какая-то дюжина жертв по сравнению со всем населением? Что значит несколько сожженных храмов, если город продолжает жить?… Где же террор в Барселоне?» Я отвергаю такие масштабы. Духовный мир человека недоступен складному метру.

Тот, кто заточил себя в своей келье, в своей лаборатории, в своей любви, как будто совсем рядом со мной, в действительности вознесся к тибетскому одиночеству, забрался в такие дали, куда никакое путешествие никогда меня не приведет. Достаточно разрушить бедные стены этого монастыря, и я уже никогда не узнаю, какая цивилизация только что навсегда погрузилась на дно моря, словно Атлантида.

Охота на куропаток в роще. Девушка, убитая вместе с мужчинами. Нет, вовсе не смерть ужасает меня. Она кажется мне почти сладостной, когда сопряжена с жизнью; мне хотелось бы думать, что в этом монастыре день смерти тоже был праздничным днем… Но это непостижимое забвение самой сущности человека, эти арифметические оправдания я решительно отвергаю.

Люди перестали уважать друг друга. Бездушные судебные исполнители, они рассеивают по ветру имущество, не ведая, что уничтожают живое царство… Вот вам комитеты, производящие чистку именем лозунгов, которым достаточно два-три раза измениться, чтобы оставить позади себя только мертвецов. Вот вам генерал во главе своих марокканцев, который со спокойной совестью уничтожает целые толпы, подобно пророку, подавляющему раскол. Здесь расстреливают, словно лес вырубают…

В Испании пришли в движение толпы, но каждый отдельный человек, этот огромный мир, тщетно взывает о помощи из глубин

обвалившейся шахты.

Мадрид

Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником, лейтенантом, не обращали внимания на эти сухие щелчки и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковой, чувствовали себя на белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками – никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысяче метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны, но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков.

И пули тоже. Шальные пули, брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь: их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя.

Вся ночь была пронизана их несуразными параболами; родившись, они жили три секунды свободного полета и погибали. Одни звякали о камень, другие, пролетая в вышине, полосовали звезды длинными ударами бича, и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели, будто на одном месте, как пчелы, опасные на миг, ядовитые, но недолговечные.

Насыпь слева от нас кончилась, и мой спутник спросил:

– Ну как, спустимся в ход сообщения? А то, пожалуй, пойдем по дороге: сейчас ведь темно…

Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война, – вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивавшие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища: «Он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело: раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит, прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать».

– Конечно, пойдем по дороге… В такую погоду!..

Безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в Кап-Джуби я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в двадцати метрах от форта. И вот, когда ко мне являлся какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком

знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе.

– Гм… уже поздненько… не вернуться ли нам назад?

Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором, теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. И вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил, как ни в чем не бывало:

– Вообще-то я не прочь еще пройтись…

Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен.

Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения.

Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством. Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет: просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело.

– Ага, это по Мадриду, – сказал лейтенант.

Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчеля. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее двух километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышается «Телефоник». Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые две минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты. Всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде.

Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-

то там, в звездах, откупорили бутылку… Секунда, две, пять… Невольно подаюсь назад: мне кажется, что стреляют прямо в меня, и – трах! – будто рушится весь город!

Но Мадрид по-прежнему перед моими глазами. Ничто не изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта: каменное лицо остается невозмутимым.

– По Мадриду… – машинально повторяет мой спутник. Он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами, следить за этими акулами, ныряющими за добычей. – Нет, теперь отвечает наша батарея… А вот это они… но в другом месте… А это… это по Мадриду…

Разрывов, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь! Огромное давление все возрастает, возрастает… Скорей бы взорвался этот котел! Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. Восемьсот тысяч жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку. А между бульканьем и разрывом все восемьсот тысяч находятся под угрозой смерти.

Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу. И я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростерла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, к горлу подступает тошнота, и, сам не свой, я невнятно бормочу:

– Мадрид… бомбят Мадрид…

А мой спутник откликается эхом, считая разрывы:

– По Мадриду… шестнадцать.

Я выбрался из хода сообщения. Лежу ничком на насыпи и смотрю.

Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночи. Город прочнее человека: Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколение. Он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети. И они ждут – одни безропотно, другие дрожа от страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль.

И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на опоздания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами – он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я

научился медленно отсчитывать секунды. И я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор, умер несчастный ребенок.

Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну-единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, в месиво из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать: «Как странно!» В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жестокой медлительностью и захлестывала его. Пораженный, прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений и искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть.

Но ему осталось лишь кровавое месиво. А легкая позолота, составлявшая неповторимый облик возлюбленной, растаяла! И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку. Не эти глаза, а их взгляд. Не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби. Он успел осознать, наконец, причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет, бесплотного ангела, легкую оболочку…

И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян.

Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды: так неужели же я уверую в справедливость ответных мер?

Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды и окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвано играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей.

Деморализующую? Но ведь обстрел приводит к обратному результату! Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решение. Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а, напротив, сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид: лицо или корабль, он безответно принимает удары. Но так уж устроены люди: испытания постепенно укрепляют их мужество.

Потому и воодушевился мой спутник: он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей…

– Это будет шестьдесят…

Удар звенит по наковальне: гигантский кузнец выковывает Мадрид.

Продолжаем путь к передовой у Карабанчеля. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка – бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все двадцать километров фронта, она распространяется, словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война.

Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья – и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу! Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну! Для того чтоб спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззаботна, как пастух. Она так надеется, что ее услышат…

Но, прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкает ружейный выстрел. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного-единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну.

И я думаю о тишине, наступающей после взрыва – то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке, идущего впереди лейтенанта, вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка, презрение к смерти, покорность? Постепенно

я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе десяти метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука.

На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками Карабанчеля – его прорезают траншеи. Идем, не замечая этого, узкой улочкой, – только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы. Здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины. И здесь, внизу, мы окунаемся в странную подводную жизнь. Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Выталкиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны.

Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня: перед рассветом назначена атака. Ее цель – отбить тридцать домиков Карабанчеля. Тридцать бетонных крепостей из сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятия смерти.

А сколько из них, не пройдя и этих пятнадцати шагов, рухнет, потонет в лунном свете?

Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого часа. Все они – добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, от личной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки – дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто, узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва, боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть

опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступление, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению: боятся-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак.

И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночи, моря. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там, снаружи, пули просто не дают вздохнуть, они буквально заперли нас в нашем убежище, но снаряды и мины, разрывы которых становятся все чаще, каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапное покушение, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет: «Ручаюсь, они атакуют первыми».

Но вот взрывная волна окатила нас с ног до головы. Люди дрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкости. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке.

Я скажу ему: «Сержант, почему ты согласен умереть?»

Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви.

Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается – это уже безотчетная, хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В тридцати сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне тридцати сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость эта обращена против призрака, а он не поддается заклинаниям!

Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение! Я ничего не заметил сквозь бойницу, клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку: вот сейчас… сейчас…

И вдруг – все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее. Я думаю. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, не хочу… Не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой

крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка! Берегись! Я бью вслепую. Берегись! Худо будет тому, кто приблизится! Я сливаюсь с этим пулеметчиком, вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись! Я вовсе не хочу убивать людей: я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак…

Так вот что такое паника!

Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась ложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака?

Капитан пожимает плечами. Ведь и он только исполняет приказы. И он придвигает нам две рюмки коньяка.

– Мы с тобой пойдем первыми, – говорит он сержанту. – Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мне освобождают место, и мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Пью сладковатый, противный коньяк. У него печальный привкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики Карабанчеля цвета морской воды.

Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из трех, слева играют в шахматы. Где я?

Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех напряженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего – отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения, я узнаю время по обросшим за ночь лицам, а снаружи с удвоенной силой грохочет морской прибой.

Скоро эти люди омоются – пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, – все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его

завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как им удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно!

И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот, расправив плечи, они затянут ремни. Капитан тащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все, не спеша, двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова: «Какая луна!» или «Как тепло!» И устремятся к звездам.

Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир – все они начинают жаловаться.

Жалоб тысячи.

– Мы что, бабы?

– Воюем мы или валяем дурака?

Тысячи язвительных упреков по адресу штабных: они, видите ли, отказываются от лобового удара, им, верно, плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей; иначе они не отменяли бы атаку как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам.

Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что, даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-нибудь восемьдесят метров и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних восьмидесяти метров, доступных обстрелу.

Мне кажется также – да они и сами этого не скрывали, – что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать вволю, пропустив в утешение – и не без удовольствия! – несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь, после телефонного звонка, странным образом изменился.

Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством, ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть, умереть без громких слов, и знал я еще кое-

что, о чем мне хотелось бы рассказать.

Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я, простой зритель, подвергавший себя опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они, мечтал этой ночью о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой.

Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца; в сорока метрах от противника, под перекрытием, пробитым полуночными снарядами, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка, и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим – капитан, сержант Р., лейтенант – они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы: «Салюд, амиго!» – и они хлопают друг друга по плечу.

Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вершин, и мне кажется, что я здесь по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира.

Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб, и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище, но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, и капитан ломает этот белый хлеб, плотный пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый, с кулак, душистый ломоть, который претворится в жизнь.

Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Р., того, которому предстояло выйти первым и который перед атакой прилег поспать. Я видел

его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из пятнадцати па, от которого умирают.

Траншеи Карабанчеля вьются среди маленьких домиков рабочего поселка; в них сохранилась мебель, и сержант Р., растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или ассенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь – разгрузка корабля.

Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтоб она вращала свой жернов.

– Эй, сержант!

Послышался вздох, тяжелый, как волна, потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь которые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника.

Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение; этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать и упрямо отворачивается от скотобойни.

– Эй, сержант!

Его опять вызвали из морских глубин, он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего: теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в

наказание урок. Ему снились каникулы, он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми… Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости.

Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, – оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там – тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка.

Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, подсумками, тремя гранатами, рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец, он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас.

– А! Да… пора…

И он протянул руку за карабином.

– Атаку отменили.

Сержант Р., я свидетельствую: мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы, в самом деле, даровали его тебе in extremis, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство: я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо. Трогательно некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит:

– Ну что ж, тем лучше.

Опять качает головой и добавляет:

– Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады две-три, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм…

Сержант, сержант… как ты распорядишься дарованной тебе жизнью?

Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания. И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами

снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать: «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить свою сущность, у тебя, такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы…

– В сущности, почему ты сюда пошел?

В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа – все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

– Пошли?

– Пошли.

И вы пошли.

Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя.

Передо мной возникает образ.

Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины – ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных

просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает.

Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает.

Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства, прежде всего, и требуют объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда мир твой был нарушен?

Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос – жертвенностью, поэзией или приключением, – он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухи к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это – не человеческая жизнь. И ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал – ты должен вылинять, ты должен распахнуть крылья.

Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса, – и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, – она хочет стать дикой уткой…

Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне.

Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству, и на вопрос: «Пойдем?» – ты отвечаешь: «Пойдем!» – и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе.

Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались: чего они лишились? Что они

открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать?

Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей же ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан. И океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега. Но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет.

Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью – единственным твоим богатством? Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься. Медленно создаешь свое творение.

Слишком ранняя смерть равносильна грабежу: чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго.

Но внезапно благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового, доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что свое жизненное призвание ты осуществишь именно теперь и что тебе не так уж необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с преходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его. И вот он свободен от оков, – спавший в тебе властелин – человек. Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все Любови обретают единый смысл. Если же ты страдал, если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища, – любовь принимает тебя.

Кто ты, солдат[47]

Чтобы излечиться от душевного смятения, надо уяснить себе его суть. А мы, конечно же, живем в смятении. Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей[48]. Между тем, без сомнения, многие из нас были готовы рисковать жизнью ради долга дружбы. И сейчас им стыдно. Но если бы они пожертвовали миром, им было бы не менее стыдно. Потому что в

таком случае они пожертвовали бы человеком – дали бы согласие на непоправимое уничтожение библиотек, соборов, лабораторий Европы. Они дали бы согласие на разрушение ее традиций, на превращение планеты в облако пепла. Вот потому-то мы и метались между двумя решениями. Когда нам казалось, что мир в опасности, мы ощущали весь позор войны. Когда показалось, что война нам не грозит, мы познали позор мира.

Не нужно поддаваться отвращению к самим себе: от него мы не были бы избавлены, какой бы выход ни избрали. Нужно взять себя в руки и подумать, в чем причина такого отвращения. Если упираешься в подобное неразрешимое противоречие, значит, сама проблема поставлена неверно. Когда физик обнаруживает, что Земля, вращаясь, увлекает за собой эфир, в котором распространяется свет, и что в то же время эфир этот неподвижен, он не отказывается от науки, он меняет язык и отказывается от идеи эфира.

Чтобы понять, где же гнездится смятение, надо непременно подняться над событиями. Надо на несколько часов забыть про Судеты. Мы слепы, пока смотрим со слишком близкого расстояния. Нам нужно немного поразмышлять о войне, коль скоро мы одновременно и отвергаем, и приемлем ее.

Я знаю, какие услышу упреки. От газеты читатели ждут предметных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши для журналов или книг. Но я другого мнения на этот счет.

У меня до сих пор перед глазами впечатления первой моей лётной ночи в Аргентине. Тьма кромешная. Но в этой бездне слабо мерцают, словно звезды, людские огни, рассеянные по равнине.

Каждая звездочка означала, что среди ночи там, внизу, люди думали, читали, вели разговоры по душам. Каждая звездочка, как сигнальный фонарь, свидетельствовала: здесь бодрствует человеческий разум. Вот там, быть может, размышляли о счастье людей, о справедливости, о мире. А эта звезда, затерянная в стаде других, – звезда пастуха. Тут, может быть, устанавливали связь со светилами, ломали голову, вычисляя туманность Андромеды. А там любили друг друга. Повсюду в долине горели эти огни, и все они нуждались в пище, даже самые скромные. Огонек поэта, учителя, плотника. Но среди этих живых звездочек – сколько затворенных окон, сколько угасших звезд, сколько спящих людей, сколько огней, уже не дарящих света, потому что им больше нечем питаться.

Пусть журналист ошибается в своих размышлениях, неважно – непогрешимых нет. Пусть он проникает не во все жилища,

неважно – смысл каждой местности придают только те жилища, где не спят. Журналист не знает, какие из них откликнутся, но это неважно; раскидывая хворостинки по ветру, он надеется поддержать хоть несколько огоньков из тех, что горят тут и там по равнине.

Это были тяжкие дни – те, что мы прожили перед громкоговорителями. Так ждут найма у железных заводских ворот. Люди, столпившиеся, чтобы слушать речи Гитлера, уже видели мысленно, как они набиваются в товарные вагоны, а потом становятся к стальным орудиям, поступив служить на тот завод, которым обернулась война. Они уже словно подрядились на эту нечеловеческую работу, и ученый прощался с вычислениями, приоткрывавшими ему вселенную, отец прощался с вечерней миской супа, наполняющей своим ароматом дом и сердце, садовник, положивший жизнь на новую розу, мирился с тем, что не украсит ею землю. Всех нас уже вырвали с корнем, перемешали и бросили, как попало под жернова.

Тут не дух самопожертвования, а сдача на милость абсурду. Запутавшись в противоречиях, которые мы уже не могли разрешить, растерявшись перед нелепостью событий, которые уже никаким языком нельзя было объяснить, мы в глубине души принимали кровавую драму: она навязала бы нам обязанности вожделенно простые.

А между тем мы понимали, что любая война, с тех пор как она стала питаться минами и ипритом, может кончиться только крушением Европы. Но нас мало трогают описания всяких катастроф – гораздо меньше, чем принято думать. Каждую неделю, сидя в креслах кинотеатров, мы присутствуем при бомбежках в Испании или Китае. Мы можем слышать взрывы, от которых города взлетают на воздух, – но нас эти взрывы не потрясают. Мы с изумлением глядим на витые столбы копоти и пепла, неторопливо извергаемые к небу этими вулканическими землями. И все-таки! Ведь это зерно из закромов, домашние сокровища, наследство предков, плоть сгоревших заживо детей стелется дымом и утучняет мало-помалу то черное облако.

Я исходил в Мадриде улицы Аргуэльяса, где окна, похожие на пустые глазницы, не отгораживали больше ничего, кроме блеклого неба. Устояли только стены, и за этими призрачными фасадами содержимое шести этажей обратилось в пяти-шестиметровую груду мусора. От кровли до фундамента прочные дубовые полы, на которых многие поколения проживали свою долгую семейную историю, на которых, может быть, в ту самую минуту, когда грянул гром, служанка застилала свежими простынями постель для ночного отдыха и любви, мать клала

прохладную руку на пылающий лоб больного ребенка, отец обдумывал завтрашнее изобретение, – эти опоры, казавшиеся каждому из нас незыблемыми, в один миг, среди ночи, опрокинулись, как кузов самосвала, и сбросили свой груз в канаву.

Но ужас не просачивается сквозь экран, и на наших глазах, при полном равнодушии зрителей, авиационные бомбы скользят бесшумно, отвесно, как лот, к этим живым домам, чьи внутренности они сейчас выпотрошат.

Не стану предаваться негодованию – у нас пока нет языкового ключа ко всему этому. Мы – те же самые люди, которые пошли бы на смертельный риск ради спасения одного-единственного угольщика, погребенного в шахте, или одного ребенка, попавшего в беду. Ужас ничего не доказывает. Я плохо верю в действенность таких животных реакций. Хирург входит в больничную палату, и сердце его не сжимается при виде чужих страданий, как у юной девушки. Его жалость выше, она поднимается над раной, которую он должен лечить. Он ощупывает рану, а не слушает стонов.

Вот так, когда наступает час родов и раздаются первые жалобные крики, весь дом охватывает лихорадка. Торопливые шаги в передней, хлопоты, распоряжения, и никого не пугают вопли молодой матери. Она и сама их забудет, они подернутся пленкой в ее памяти, значения они не имеют. Но сейчас-то она корчится и истекает кровью. И ее держат узловатые руки, руки палача, которые помогают исторгнуть плод, вырывают плоть из ее плоти. Все меж тем заняты делом; все улыбаются. Слышится шепот: «Все идет хорошо». Готовят колыбельку, готовят теплую ванночку – и вдруг кто-то бросается к двери, распахивает ее настежь и кричит: «Благодарение богу, это сын!»

Если мы ограничимся изображением ужасов, то не найдем убедительных доводов против войны. Но мы не получим таких доводов и в том случае, если будем только расписывать радости жизни и боль бессмысленных утрат. Вот уже несколько тысячелетий мы разглагольствуем о слезах матерей. Приходится признать, что этот язык отнюдь не мешает погибать сыновьям.

Спасение придет не из рассуждений. Большее или меньшее число смертей… Начиная с какой цифры смерть приемлема? Мир нельзя основать на этой постыдной арифметике. Мы скажем: «Неизбежные жертвы… Величие и трагизм войны…» А, скорее всего, мы ничего не скажем. У нас нет языка, который позволил бы разобраться в многообразии смерти без сложных рассуждений. А наш инстинкт и опыт велят нам не слишком доверять рассуждениям: доказать можно что угодно. Истина – это не то, что можно доказать; это то, что делает мир проще.

Наши терзания стары, как род людской. Они сопутствовали прогрессу человечества. Общество развивается, а люди все пытаются осмыслять сегодняшнюю действительность с помощью устаревшего языка. Мы всегда в плену у языка и рождаемых им образов, независимо от того, годится нам этот язык или нет. Противоречивым мало-помалу становится неподходящий язык, а вовсе не действительность. Человек высвобождается только тогда, когда придумывает новые понятия. Работа ума, дающая толчок прогрессу, состоит отнюдь не в том, чтобы вообразить себе будущее: как можно предугадать противоречия, которые завтра возникнут неожиданно из наших нынешних дел и, властно требуя новых решений, изменят ход истории? Будущее не поддается анализу. Человек движется вперед, придумывая язык для понимания сегодняшнего мира. Ньютон подготовил открытие рентгеновских лучей не тем, что предвидел рентгеновские лучи. Ньютон изобрел простой язык для описания известных ему явлений. И из этого изобретения через цепь других – родились рентгеновские лучи. Любой иной путь – утопия.

Не допытывайтесь, какие меры уберегали человека от войны. Спросите себя: «Почему мы ведем войну, хотя знаем, что она нелепа и чудовищна? Где таится противоречие? Где таится истина войны, истина столь всемогущая, что ей покоряются ужас и смерть?» Только найдя разгадку, мы перестанем сдаваться на милость слепой судьбе, как будто она сильнее нас. Только тогда мы убережемся от войны.

Конечно, вы можете мне ответить, что вероятность войны заложена в человеческом безумии. Но тем самым вы отрекаетесь от собственной способности понимать. Точно так же вы могли бы сказать: «Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья». Возможно. Но какими уравнениями эта воля описывается? На каком достаточно ясном языке мы можем описать это безумие и тем избавиться от него?

Мне все-таки кажется, что «дикие инстинкты», «алчность», «кровожадность» неподходящие отмычки. Пользоваться ими – значит обходить самое, может быть, существенное. Это значит забывать о лишениях, связанных с войной. О готовности жертвовать жизнью. О дисциплине. О братстве, рожденном опасностью. Это значит, наконец, забывать обо всем, что поражает нас в солдате, в любом солдате, который согласился идти на лишения и смерть.

В прошлом году я побывал на мадридском фронте, и, на мой взгляд, соприкосновение с настоящей войной дает больше, чем книги. Думаю, только от солдата можно узнать, что такое война.

Но чтобы причаститься вместе с ним к всеобщей истине, надо

забыть, что он на чьей-то стороне, и не обсуждать идеологические проблемы. Неумение найти общий язык влечет за собой противоречия, запутанные настолько, что лишают веры в спасение человека. Франко бомбит Барселону потому, что, по его словам, в Барселоне зверски истребили монахов. Следовательно, Франко защищает христианские ценности. Но христианин, во имя христианских ценностей, стоит в разбомбленной Барселоне у костра, в котором горят женщины и дети. И он отказывается понимать. Вы возразите мне, что это – печальная необходимость войны… Что война абсурдна, но приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я думаю, что абсурден, прежде всего, язык, заставляющий людей противоречить самим себе.

Очевидность ваших истин – тоже не довод. Вы правы. Вы все правы. Прав даже тот, кто вину за все земные беды возлагает на горбунов. Если объявить войну горбунам, если заронить в умы представление о расе горбунов, мы быстро сумеем себя распалить. Мы предъявим горбунам счет за все их мерзости, за все преступления, все грехи. И будем считать, что это справедливо. А когда мы утопим несчастного, ни в чем не повинного горбуна в его собственной крови, то пожмем плечами с сожалением: «Таковы ужасы войны… Он расплачивается за других… Он расплачивается за преступления горбунов…». Ведь горбуны, разумеется, тоже совершают преступления.

Забудем же эти различия: если их принять, вслед за ними появится целый свод непререкаемых истин, со всем вытекающим из них фанатизмом. Можно поделить людей на правых и левых, на горбунов и негорбунов, на фашистов и демократов, и такие разграничения неуязвимы. Но истина, как мы помним, – это то, что делает мир проще, а не то, что создает хаос.

А если задать солдату – любому солдату – вопрос иначе? Если искать смысл его сокровенных устремлений по-другому – не вслушиваясь, какие оправдания он приводит на своем невнятном языке, а всматриваясь, как он живет?

Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов

В глубине подземного укрытия несколько человек – лейтенант, сержант, трое солдат – снаряжаются, чтобы пойти в дозор. Один из них, тот, что напяливает шерстяной свитер – холод стоит жестокий, – маячит передо мной в темноте. Он еще не просунул голову в ворот, руки путаются в рукавах, движения медленные и неуклюжие по-медвежьи. Глухие проклятья, ночная щетина, разрывы поодаль… Все это составляет странную смесь из сна, пробуждения и смерти. Долгие сборы бродяг перед тем, как снова взять тяжелый посох и отправиться в путь. Загнанные в землю, вымазанные землей, с руками в земле, как у садовников, эти люди не созданы для наслаждения. Женщины отвернулись бы от них. Но вот они потихоньку выкарабкиваются из грязи к звездам. Под землей, под этими глыбами промерзшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час другие люди так же снаряжаются и натягивают на себя такие же шерстяные свитера; они выпачканы той же землей и вылезают из той же глины, из которой и сотворены. Там, напротив, та же земля пробуждается к мысли через людей.

Так по ту сторону, лейтенант, твой собственный образ медленно поднимается навстречу гибели от твоей руки. Он от всего отказался, чтобы, как и ты, защищать свою веру. Его вера – это и твоя вера тоже. Кто согласился бы умирать иначе, как за истину, справедливость, любовь к людям?

Мне скажут: «Кого-то обманули – либо их, либо тех, что напротив». Но мне сейчас плевать на политиков, спекулянтов, мыслителей-надомников из обоих лагерей. Они дергают за веревочки, сыплют громкими словами и полагают, что руководят людьми. Они полагают, что люди настолько наивны. Но если громкие слова и пускают корни, как семена, развеянные по ветру, – это значит только, что ветру на пути встретились тучные земли, пригодные нести груз урожая. И пусть кто-то цинично воображает, что разбрасывал песок вместо зерен: распознавать хлеб – дело земли.

Дозорные готовы, и мы двигаемся через поле. Стерня похрустывает у нас под ногами, и мы то и дело спотыкаемся в темноте о камни. Я провожаю до границы этого мира тех, кто получил приказ зайти в глубь узкой долины, отделяющей нас от противника. Ширина ее – восемьсот метров. Она оказалась под навесным артиллерийским огнем обеих сторон, и крестьяне ее

покинули. Долина безлюдна, затоплена водами войны, посреди ее спит затонувшая деревушка. В ней живут теперь только призраки, тут остались одни собаки; днем они, должно быть, рыскают в поисках жалкого пропитания, а по ночам их, изголодавшихся, охватывает ужас. И к четырем часам утра вся деревня в смертельной тоске воет на белую, как кость, луну высоко в небе. «Вы должны разузнать, не прячется ли там противник», – приказал командир. Надо думать, противник задает себе тот же вопрос, и такой же дозор отправляется в путь с той стороны.

С нами идет комиссар. Я забыл, как его звали, но лица его я никогда не забуду. Он мне сказал: «Ты их услышишь… Когда будем на передовой, попробуем окликнуть неприятеля на том склоне… Иногда они отвечают…».

Я его ясно вижу, этого человека: он опирается на суковатую палку (наверно, легкий ревматизм), у него лицо пожилого сознательного рабочего. Вот он-то, могу поклясться, возвысился над политикой и борьбой партий. Он возвысился над враждующими исповеданиями веры. «Жаль, что в нынешних обстоятельствах мы не можем изложить противнику нашу точку зрения…».

Он идет с ношей своих убеждений, как евангелист. А на той стороне – я знаю, и вы это знаете – другой евангелист, какой-нибудь верующий, также озаренный светом своих убеждений, вытаскивает тяжелые сапоги из той же грязи и тоже идет на неведомое свидание.

И вот мы шагаем к земляному гребню, поднявшемуся над долиной, к самому вытянутому его отрогу, к крайнему уступу, к тому вопрошающему крику, что мы бросим врагу, – так вопрошают самих себя.

Ночь, высящаяся, словно собор, – и какая тишина? Ни одного ружейного выстрела. Передышка? Нет, не то. Но нечто похожее на ощущение присутствия. Оба противника слушают один и тот же голос. Братание? Нет, конечно, если подразумевать под этим словом ту усталость, что в один прекрасный день ломает людей, заставляя их обмениваться сигаретами и делить чувство одинакового унижения. Попробуйте же сделать шаг навстречу врагу… Братание, быть может, но на такой высоте, где дух действует неизъяснимым до поры образом, – а здесь, внизу, не спасает нас от бойни. Ибо у нас нет пока языка, способного высказать то, что нас объединяет.

Мне кажется, я хорошо его понимаю – комиссара, который идет с нами. Откуда он, с такими глазами, глядящими прямо перед собой, словно он когда-то подолгу ходил за плугом по борозде? Он родом из крестьян и с ними вместе постигал, как

живет земля. Потом он ушел на завод и постигал, как живут люди. «Я металлист… Двадцать лет был металлистом…» Я ни от кого не слышал исповеди более возвышенной, чем от этого человека. «Я человек неотесанный… Мне пришлось крепко над собой потрудиться… Понимаешь, всякие инструменты – с ними я умел обращаться и говорить об этом умел, тут у меня чутье было… Но когда я пробовал изложить что-то такое – идеи, мысли о жизни – для себя или для других… Вы-то привыкли к отвлеченным вещам… Вас ведь с детства приучают разбираться в разных словесных хитростях, и вы не можете вообразить, как это трудно – говорить об отвлеченных вещах! Но я работал, работал… Я чувствовал, как понемногу суставы у меня становятся гибче… Ты не думай, что я не могу посмотреть на себя со стороны… Я еще мужлан, не умею вести себя прилично, а ведь человека, знаешь, судят по тому, как он себя ведет…»

Слушая его, я вспоминаю прифронтовую школу, устроенную прямо в камнях, как первобытное поселение. Капрал преподавал там ботанику. Ощипывая лепестки мака, он приобщал своих бородатых учеников к нежным тайнам природы. Но видно было, что солдаты испытывают простодушную тревогу: они так старались понять, – а ведь они уже не слишком молоды и огрубели от прожитой жизни. Им сказали: «Вы дикари, едва из пещеры вылезли, надо догонять человечество…» И они торопливо поспевали за человечеством своими широкими тяжелыми шагами.

Я присутствовал здесь при восхождении мысли, подобном движению соков по стволу; рожденная в доисторической тьме из глины, она поднялась понемногу до высочайших вершин – до Декарта, Баха, Паскаля. Как переворачивал душу рассказ комиссара об усилиях пробиться к отвлеченным вещам! Эта потребность расти – так дерево тянется вверх. Вот тут и кроется тайна жизни. Только жизнь извлекает свою сырую породу из почвы и наперекор силе тяжести поднимает ее ввысь.

Какие воспоминания! Эта соборная ночь… Зрелище человеческой души с ее шпилями и стрельчатыми сводами… Враг, которого мы готовимся окликнуть. И мы сами, словно вереница паломников, бредем по черной, хрустящей земле, усыпанной звездами. Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей. Из-за них пролито слишком много людской крови. Мы шествуем к грозовому Синаю[49].

Вот мы и на месте. Натыкаемся на закоченевшего часового – он дремал, привалившись к низенькой каменной стене.

«Да, тут они иногда отвечают… Другой раз сами зовут… А

иногда и не отвечают. Это уж смотря с какой ноги встанут…»

…Так ведут себя и боги.

В ста метрах позади нас петляют окопы передовой. Их низкие стены укрывают человека по грудь. Они используются только для ночных постов, днем тут никого нет. Они нависают прямо над бездной, поэтому нам кажется, что мы словно облокачиваемся о парапет или барьер над пустотой и неизвестностью.

Я зажигаю сигарету, и могучие руки сразу же валят меня на землю. Рядом со мной все тоже падают. В эту самую минуту я слышу свист пяти-шести пуль. Впрочем, они пролетают слишком высоко, и больше залпов нет. Это просто призыв к порядку: под носом у противника сигарет не зажигают.

К нам подходят трое или четверо людей, закутанных в одеяла. Они стояли на часах поблизости, в таких же укрытиях.

– Видно, проснулись те, напротив…

– А говорить они будут? Хорошо бы их послушать…

– Там есть один… Антонио… Он иногда разговаривает.

– Ну попробуй – пусть поговорит…

Солдат выпрямляется, набирает полную грудь воздуху, складывает ладони рупором и кричит раскатисто и протяжно: «ан – то – ни – о…о!»

Крик растет, стелется, эхом отражается по равнине…

«Нагнись, – говорит мне сосед, – иногда они стреляют в ответ, когда их зовут…».

Мы прижимаемся к камню для безопасности и вслушиваемся. Выстрелов нет. Что же до отклика… Мы не могли бы поклясться, что ничего не слышим: в ночи все гудит, как в раковине.

«Эй! Антонио…о! Ты что…».

И славный здоровенный парень, надсадив грудь, переводит дыхание.

«Ты что… спишь?..».

Ты спишь… – повторяет эхо на другом берегу… Ты спишь… – повторяет долина… Ты спишь… – повторяет ночь. Все вокруг наполнено этим звуком. А мы стоим, охваченные доверчивой надеждой: они не стреляют! Я представляю себе, как они там прислушиваются, и ждут, и ловят человеческий голос. И этот голос не будит в них ненависти – ведь они не нажимают на спусковой крючок. Правда, они молчат, но какое напряженное внимание выдает эта тишина, если единственная зажженная спичка вызывает выстрел! Не знаю, какие невидимые семена, летящие с нашим голосом, падают в черную землю. Они жаждут нашей речи, как мы жаждем речи ответной. Но мы ничего не знаем о нашей жажде, кроме того, что она ясно чувствуется в самом этом внимании. А они все же не снимают пальцев со

спусковых крючков, и я вспоминаю диких зверьков в пустыне, которых мы пытались приручить. Они смотрели на нас, прислушивались к нам. Они ждали от нас пищи. И все-таки, при малейшем неосторожном движении они вцепились бы нам в горло.

Мы надежно укрываемся за стену и, приподняв над ней руки, чиркаем спичкой. Три пули летят на быстро гаснущую звездочку.

О спичка-магнит… Это значит: «Мы воюем, не забывайте! Но мы вас слушаем. Такая суровость не мешает любви…».

Кто-то отталкивает здоровенного парня:

«Тебе его не разговорить, дай-ка я попробую…»

Коренастый крестьянин прислоняет ружье к стене, набирает воздуху в легкие и кричит:

«Это я, Леон… Антонио-о!»

И громовой звук удаляется.

Я никогда не слышал, чтобы голос разносился так далеко. Будто корабль отплыл в пропасть, которая нас разделяет. Восемьсот метров отсюда до того берега и столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они откликнутся, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пройдет пять секунд тишины, на которых подвешена целая жизнь. Каждый раз это как посольство в пути. И потому, даже если они нам ответят, мы не испытаем чувства единения друг с другом. Между нами встанет инерция невидимого мира, который надо столкнуть с места. Голос отчалил, он плывет, пристает к тому берегу… Секунда… две… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые бросили бутылку в море… Три секунды… Четыре… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые не знают, откликнутся ли спасители… Пять секунд…

«О-о!»

Голос доносится издалека и замирает на нашем берегу. Фраза растаяла по дороге, от нее осталась только невразумительная весть. Но меня она потрясает. Мы затеряны в темноте, непроницаемой изначала, и вот она внезапно озаряется возгласом гребцов.

Нас бьет бессмысленная лихорадка. Мы нашли очевидное доказательство. Напротив – люди!

Как это объяснить? Мне кажется, будто внезапно образовалась невидимая расщелина. Представьте себе дом ночью, все двери заперты. И вдруг в темноте вас касается дуновение морозного воздуха. Одно-единственное. Кто-то рядом!

Вы когда-нибудь склонялись над пропастью? Я вспоминаю трещину в Шезри[50], черную щель в чаще леса, шириной в метр или два, длиной метров в тридцать, пустяк. Ложишься ничком на

еловые иголки и подталкиваешь рукой камешек в эту гладкую расщелину. Отзвука нет. Проходит секунда, две, три – целая вечность, и вот, наконец, слышится слабый гул, волнующий тем больше, чем дольше он шел, чем он слабее там, под тобой. Какая бездна! Так и в эту ночь запоздалое эхо созидает новый мир. Враг, мы сами, жизнь, смерть, война – несколько секунд тишины выражают все это.

Снова послан сигнал, корабль тронулся в путь, караван отправился через пустыню, и мы снова ждем. Конечно, на той стороне, так же как и здесь, ловят этот голос, разящий в сердце, словно пуля. Но вот эхо возвращается:

«…Пора… пора спать!»

Фраза доносится до нас изуродованной, разорванной в клочья, как спешное сообщение, перепачканное, размытое, истрепанное морем. Те самые люди, что стреляли по нашим сигаретам, напрягают грудь во всю мочь, чтобы послать нам материнский совет:

«Молчите… Ложитесь… Пора спать».

Нас охватывает легкая дрожь. Вам, наверно, показалось бы, что это игра. Им, этим простым людям, наверно, тоже кажется, что это игра. Так они в целомудрии своем вам бы и объяснили. Но в игре всегда таится глубокий смысл. Иначе откуда бы взяться тревоге, и наслаждению, и притягательной силе игры? Игра, в которую, казалось, мы играли, слишком хорошо сочеталась с той соборной ночью, с тем шествием к Синаю, она заставляла наши сердца биться слишком сильно, чтобы не отвечать какой-то смутной потребности. Установленная наконец-то связь приводит нас в радостное возбуждение. Так вздрагивает физик, приступая к решающему опыту, готовясь взвесить молекулу. Он определит лишь одну величину из сотен тысяч, добавит как будто только одну песчинку к зданию науки, и все же сердце у него бьется, потому что дело совсем не в этой песчинке. У него в руках ниточка. Ниточка, дернув за которую, приближаешь познание вселенной, ибо все связано между собой. Так вздрагивают спасатели, закидывая трос один раз, другой, двадцатый… и ощутив по едва заметному толчку, что потерпевшие крушение наконец его поймали. Где-то там была горстка людей, затерянных среди рифов в тумане, отрезанных от мира. И вот они связаны волшебной стальной нитью со всеми мужчинами, со всеми женщинами во всех портах. Так и мы перекинули хрупкий мостик через ночь к неизвестности, и вот он связал друг с другом два берега мира. Мы соединяемся с врагом, перед тем как погибнуть от его руки.

Но наш мостик такой легкий, такой хрупкий; что можно ему

доверить? Слишком тяжелый вопрос или ответ – и он рухнет. У нас так мало времени, что передавать надо только самое важное, истину истин. Я будто снова его слышу – того, кто руководил маневром, кто взял нас под свою команду, как рулевой; того, кто сумел добиться от Антонио ответа и потому стал нашим послом. Я вижу, как он выпрямляется во весь рост над стенкой, опирается широко раскрытыми ладонями о камень и выкрикивает в полный голос главный вопрос:

«Антонио! За какой идеал ты сражаешься?»

Разумеется, они по целомудрию стали бы оправдываться:

«Это мы так, в шутку…»

Они и сами в это поверят позднее, если попробуют передать на своем скудном языке те чувства, для передачи которых еще нет языка. Чувства человека, который внутри нас и который вот-вот проснется… Но чтобы он появился на свет, требуется усилие.

Этот солдат в свой черед ждет потрясения – и я знаю, я видел его глаза: он открыт ответу всей душой, как открываются колодезной воде в пустыне. Вот она, наконец, эта изуродованная весть, это признание, обглоданное пятью секундами странствия, как надпись на камне обглодана столетиями:

«…Испания!»

Затем доносится:

«…ты».

Думаю, это он теперь вопрошает того, кто здесь.

Ему отвечают. Я слышу, как отсылают величавый ответ:

«…Хлеб для наших братьев!»

А вслед за тем удивительное:

«…Спокойной ночи, amigo!»

На что с той стороны отвечают:

«Спокойной ночи, amigo!»

И все снова погружается в тишину. Наверно, они там, как и мы, могли расслышать только отдельные слова. Разговор состоялся, и вот он, плод долгой ходьбы, опасностей и усилий… Вот он весь, такой, каким его качало эхо под звездами: «Идеал… Испания… Хлеб для наших братьев…»

Но пора, дозор отправляется в путь. Начинается спуск к деревне – месту встречи. Ведь на той стороне такой же дозор, подчиняясь той же необходимости, углубляется в ту же бездну. Разными по видимости словами эти два отряда прокричали одну истину… Но столь возвышенное общение не воспрепятствует им умереть вместе.

Надо придать смысл человеческой жизни [51]

Несхожими словами мы выражаем одни и те же стремления. Человеческое достоинство, хлеб для наших братьев. Мы различаемся по способу достижения цели, определяемому логикой наших рассуждений, а не по самой цели. Мы идем на войну друг против друга по направлению к одной и той же земле обетованной.

Чтобы понять это, достаточно взглянуть на нас со стороны. Тогда окажется, что мы воюем против самих себя. А наши споры, распри, обиды – это словно единое тело корчится и раздирается пополам в кровавых родовых муках. В том, что должно появиться на свет, противоречивые представления сольются, но поторопимся ковать новую цельность. Родам надо помочь, иначе исход может оказаться смертельным. Не забудем, что сегодня война питается минами и ипритом. Военная страда теперь уже не препоручается каким-то представителям нации, которые пожинают лавры на границе и более или менее дорогой ценой приумножают (готов признать) духовное достояние народа. Война теперь действует хирургическими приемами насекомого, прокусывающего нервные узлы врага. Как только война будет объявлена, наши вокзалы, мосты, заводы взлетят на воздух. Наши города в судорогах удушья разбросают своих жителей по деревням. И с первого же часа Европа, этот организм из двухсот миллионов человек, лишится своей нервной системы, словно ее сожжет кислотой, своих управляющих центров, регулирующих желез, кровеносных сосудов; она превратится в сплошную раковую опухоль и сразу же начнет гнить. Как прокормить эти двести миллионов человек? Корешков в достаточном количестве им никогда не накопать…

Когда противоречия становятся столь остры, нужно спешить их преодолевать. Нет ничего сильнее смутного беспокойства, ищущего для себя выражения. Можно дать на мучащие человека вопросы ответ получше, чем война, но отрицать их бесполезно. Попробуйте прокричать, какие у вас есть основания ненавидеть войну, тому сражавшемуся на юге Марокко офицеру (я его знаю, но имени не назову, чтобы не причинить ему неприятностей). Если вы его не убедите, не считайте его варваром. Послушайте сначала этот рассказ.

Во время Рифской войны[52] он командовал небольшой заставой, примостившейся между двух мятежных гор. Однажды

вечером он принимал парламентеров, спустившихся с западной гряды. Как положено, пили чай, и тут раздалась ружейная стрельба. На заставу напали племена восточной гряды. Когда офицер попросил парламентеров уйти, чтобы не мешать бою, они ответили: «Сегодня мы твои гости, аллах не велит тебя покидать…». Они присоединились к его солдатам, спасли заставу и вернулись к мятежникам.

Но накануне того дня, когда пришел их черед нападать на заставу, они появились снова:

– В прошлый раз мы тебе помогли.

– Верно.

– Мы истратили для тебя триста патронов.

– Верно.

– По справедливости надо их нам вернуть.

И офицер-рыцарь не стал извлекать выгоду из их благородства. Он отдал им эти патроны, один из которых, может быть, его убьет…

Истина для человека – это то, что делает его человеком. Кто познал такую высоту отношений, такую честность в игре, такой дар взаимного уважения, оплачиваемого жизнью, – тот, сравнивая взлет души, что выпал ему на долю, с заурядностью демагога, выражающего чувство братства с теми же арабами звонким похлопыванием по плечу, ласкающего, может быть, самолюбие отдельной личности, но унижающего в ней человека, тот испытает к вам, если вы его осудите, только жалость, смешанную с презрением. И будет прав.

Не пытайтесь объяснять Мермозу[53], когда он, всем сердцем торжествуя победу, летит над чилийским склоном Анд, будто он ошибается, будто письмо какого-нибудь лавочника не стоит того, чтобы из-за него рисковать жизнью. Мермоз посмеется над вами. Истина – это человек, родившийся в нем, когда он пролетал над Андами…

Неужели вы не понимаете, что человеческое благородство основано, прежде всего, на самоотдаче, готовности рисковать, верности до самой смерти? Если вам нужен образец для подражания, вы найдете его в летчике, жертвующем собой ради почты, которую он везет, во враче, погибающем, сражаясь с эпидемией, в арабском воине, который на своем боевом верблюде спешит во главе отряда навстречу лишениям и одиночеству. Кто-то из них погибает каждый год. И даже если их жертвы кажутся бессмысленными, что же, вы думаете, их жизнь пропала даром? Они запечатлели прекрасный образ на первобытной глине, из которой мы сделаны, они посеяли семена даже в сознании малого ребенка, засыпающего под легенды об их подвигах. Ничто не

исчезает бесследно, и даже от огороженного стенами монастыря исходит свет.

Неужели вы не понимаете, что где-то мы сбились с пути? Человеческий муравейник стал богаче, чем прежде, у нас больше всяких благ и досуга, и все же нам не хватает чего-то существенного, чему трудно подыскать определение. Мы меньше ощущаем себя людьми, мы утратили какие-то таинственные привилегии.

Я разводил газелей на мысе Юби[54]. Мы все там разводили газелей. Их держали в загородках на открытом воздухе, потому что газелям нужны потоки свежего ветра; газели – самое хрупкое, что есть на свете. Но если их изловить совсем маленькими, они все же живут в неволе и кормятся из ваших рук. Они дают себя погладить и тычутся влажными мордочками в вашу ладонь. И вы думаете, что приручили их. Вы думаете, что прогнали ту неведомую печаль, от которой газели тихо гаснут и умирают самой ласковой смертью… Но приходит день, когда вы застаете их упершимися рожками в изгородь и глядящими в сторону пустыни. Их влечет магнитом. Они не знают сами, что покидают вас; они пьют молоко, которое вы им приносите, позволяют себя гладить и еще нежнее тычутся мордочками в ваши ладони… Но как только вы отойдете, они, поскакав немного радостным галопом, снова возвращаются к изгороди. Если вы им не помешаете, они так и останутся там, даже не пытаясь сломать ограду, а только упираясь в нее рожками, опустив голову, пока не умрут. Что это – пора любви или просто жажда мчаться вприпрыжку до потери дыхания? Они не знают. Их поймали, когда у них еще глаза не открылись. Они ничего не знают ни о свободе в песках, ни о запахе самца. Но вы много умнее их. Вы знаете, чего они ищут: простора, который даст им возможность осуществиться. Они хотят стать газелями и танцевать свой танец. Они хотят познать бег по прямой со скоростью сто тридцать километров в час, перемежаемый внезапными скачками в сторону, словно из-под песка то тут, то там вырывается пламя. Разве их остановят шакалы, если истина газелей в том, чтобы испытывать страх, который один только может заставить их превзойти самих себя, проделать самые невероятные прыжки? Разве остановит их лев, если истина газелей в том, чтобы их раздирали когти под слепящим солнцем? Вы смотрите на них и думаете: они охвачены ностальгией… Ностальгия – это желание неизъяснимого. Предмет желаний существует, нет только слов, чтобы его назвать.

А мы – чего не хватает нам?

Что это за пространства, куда мы просим нас выпустить? Мы

стараемся вырваться за пределы тюремных стен, растущих вокруг нас. Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить все наши потребности. И понемногу из нас лепили куртелиновского мелкого буржуа[55] провинциального политикана, узкого специалиста, лишенного всякой внутренней жизни. Вы мне возразите: «Нас учат, просвещают, больше чем когда-либо обогащают всеми завоеваниями разума». Но до чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу. Паскаль – это, прежде всего, стиль. Ньютон – это, прежде всего, человек. Он стал зеркалом вселенной – слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее в саду, и звезды июльской ночью. Для него наука была жизнью.

И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей, и притом надличной, целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными.

Тут нечему удивляться. Тот, кто не подозревал о существовании незнакомца, дремлющего в его душе, но однажды в кабачке анархистов, в Барселоне, почувствовал, как он пробуждается благодаря самопожертвованию, дружеской помощи, суровому понятию справедливости, – тот будет отныне признавать только одну истину: истину анархистов. А кто однажды постоит на часах, охраняя коленопреклоненных испуганных монашенок в испанских монастырях, – тот умрет за испанскую церковь.

Мы хотим освобождения. Кто бьет киркой, хочет знать, какой смысл в том, что он бьет киркой. Каторжник бьет киркой совсем не так, как изыскатель, которого удар киркой возвышает. Каторга не там, где бьют киркой. Дело вовсе не в физических трудностях. Каторга там, где бьют киркой бессмысленно, где удар киркой не связывает работающего со всем человечеством.

А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек, жизнь которых лишена смысла и которые хотели бы родиться на свет. Развитие промышленности оторвало их от наследственного крестьянского

языка и заперло в огромных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые составами из черных вагонов. В гуще рабочих предместий эти люди ждут пробуждения.

Есть и другие – жертвы всех профессий: им запретны радости Мермоза, радости верующего, ученого; а они тоже хотели бы родиться.

Конечно, можно их оживить, нарядив в мундиры. Они станут петь походные песни и делить хлеб по-братски. Они найдут то, чего ищут, – причащение к всеобщему. Но, отведав такого хлеба, они погибнут.

Можно откопать деревянных идолов и воскресить старые языки, которые с грехом пополам делали когда-то свое дело; можно воскресить мистику пангерманизма или Римской империи[56]. Можно одурманить немцев хмелем сознания, что они – немцы и соотечественники Бетховена. Таким хмелем можно и кочегару вскружить голову. Это, конечно, гораздо легче, чем пробудить в кочегаре Бетховена. Но демагогические идолы плотоядны. Тот, кто умирает за приумножение познаний или исцеление болезней, даже умирая, служит жизни. Можно умереть и за расширение границ Германии, или Италии, или Японии, но тогда враг – это уже не уравнение, сопротивляющееся решению, не бацилла, сопротивляющаяся сыворотке; враг – это человек рядом. С ним приходится сражаться, но о победе сегодня речи быть не может. Каждый укрывается за бетонными стенами. Каждый, не придумав ничего лучшего, ночь за ночью посылает эскадрильи бомбить самое нутро другого. Победа достается тому, кто сгниет последним, – поглядите на Испанию…

Что помогало нам родиться к жизни? Служение. Мы смутно ощущали, что человек может соединяться с человеком, только разделяя одни и те же устремления. Летчики сближаются, если идут на риск ради одной и той же почты. Альпинисты – если карабкаются к одной и той же вершине. Люди соединяются не тогда, когда тесно соприкасаются друг с другом, а когда сливаются в одной вере. В мире, ставшем пустыней, мы испытываем жажду вновь обрести товарищей. Но для того, чтобы почувствовать тепло от плеч спутников, с которыми вместе бежишь к одной цели, война не нужна. Война нас обманывает. Ненависть ничего не прибавляет к экстазу бега.

Ибо для того, чтобы освободить нас, достаточно помочь нам осознать единую цель, связующую нас Друг с другом, и искать ее надо в общечеловеческом. Врач во время осмотра не обращает внимания на стоны того, кого выслушивает: помогая этому больному, он надеется исцелить человека. Врач говорит на общем для всех языке. Пилот почтового самолета мускулистой рукой

управляется с болтанкой, и это каторжная работа. Но своим трудом он служит связям между людьми. Мощь его руки соединяет тех, кто любит друг друга, кто мечтает о встрече: этот пилот тоже частица всеобщего. И даже простой пастух, стерегущий овец под звездами, осознав свое назначение, обнаруживает, что он больше чем пастух. Он часовой. А каждый часовой в ответе за всю державу.

К чему обманывать кочегара, посылая его во имя Бетховена драться с соседом? Какая ложь! Ведь в том же краю Бетховена бросают в концентрационный лагерь, если он думает не так, как кочегар. У кочегара должна быть иная цель возвыситься до того, чтобы однажды заговорить, как Бетховен, на общем для всех языке.

Идя к осознанию вселенной, мы вернемся к самой сути человеческой судьбы. Не понимают этого только лавочники, удобно устроившиеся на берегу и не замечающие, как течет река. Но мироздание не стоит на месте. Из кипящей лавы, из звездного вещества рождается жизнь. Постепенно мы восходим к тому, чтобы сочинять кантаты и взвешивать галактики. И сержант под снарядами знает, что генезис еще не завершен, что он должен продолжать восхождение. Жизнь движется к сознанию. Звездное вещество неторопливо вскармливает и растит самый благородный свой цветок.

Но велик даже тот пастух, что осознал себя часовым. Мы лишь тогда будем счастливы, когда начнем двигаться в нужном направлении – в том, по какому шли с самого начала, только пробудившись из глины. Тогда мы сможем жить в мире, ибо то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти.

Как легка она под сенью провансальского кладбища, когда старый крестьянин в конце своего царствования вручает семейное достояние – коз и маслины – на хранение сыновьям, чтобы те в свой черед передали его сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого в свой срок лопается, как стручок, и выпускает на волю зерна.

Я как-то сидел бок о бок с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было горько. Второй раз перерезалась пуповина. Второй раз развязывался узел, соединяющий одно поколение с другим. Трое сыновей понимали, что остались одни, что им надо всему учиться заново, что они лишились семейного стола, за которым собирались по праздникам, той точки, в которой они все сходились. Но я понимал также, что с этим разрывом второй раз дарилась жизнь. Сыновья в свой черед становились предводителями, полюсами притяжения, патриархами – до той поры, пока в свой черед не

передадут престол выводку малышей, играющих во дворе.

Я смотрел на мать, старую крестьянку, с лицом спокойным и строгим, со сжатыми губами; лицо ее обратилось в каменную маску. И я узнавал в нем лица сыновей. В этой маске они были отлиты. В этом теле были отлиты их тела, прекрасные образцы человеческой породы; они держались прямо, как деревья. Теперь маска лежала разбитая – но так трескается крепкая скорлупа, из которой вылущили плод. Сыновья и дочери в свой черед будут отливать из своей плоти человеческий молодняк. На ферме не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Горькая, да, но такая простая картина: этот род, оставляя на пути одного за другим своих прекрасных седоволосых покойников, шествует через все метаморфозы к неведомой истине.

Письма, телеграммы, записные книжки *(Антуан де Сент-Экзюпери)*

Письмо г-же Н. (Письмо X.)
[Орконт, конец декабря 1939 г.]

Полночь.

В Витри был праздник. Мне пришлось пойти во «фронтовой театр»[57]. И вновь острей, чем когда бы то ни было, встал вопрос: почему мы воюем? Куда делись французы? Куда делся г-н Паскаль? До чего ничтожно это паясничанье! Эти стереотипные, как с конвейера, песенки! Еще куда ни шло, когда они идиотские, вроде «Ольги», тогда их еще можно вынести:

> И, не пойдя в официантки,
> Она пошла по офицерам.

Но они становятся духовной порнографией, когда пытаются подняться до уровня чувств, когда намереваются растрогать. Это консервы для собак, которые фабриканты подсовывают людям, и люди ими довольны. Мильтону[58] хлопали. До чего угрюма веселость этого шута! Веселость горемыки, страдающего геморроем и способного думать только о нем. И, тем не менее, он худо-бедно зарабатывает себе на хлеб потоками слов, которые невозможно назвать предложениями, потому что предложения – это структуры, которым присуще внутренне движение.

И поэтому, слушая продолжение «Ольги», чувствуешь, как тебя окатывает волна свежести, правды и здоровья:

> Она была полудевица
> И получала вполовину.

Еще бы! Тут ведь полное соответствие стиля и содержания. Содержание – это удовольствие сказать жеребятину. Отмочить глупость. Вещь совершенно естественная, вроде отрыжки. Содержание крайне непритязательно, но оно такое, какое есть, и стиль под стать ему: ничего не прибавляет и не убавляет. Но как вынести без тошноты этакое:

> Я люблю-ю-ю тебя безу-у-умно…

Какое внутреннее побуждение направляет этот стиль? Я видел автора. Гнусный барышник. И хотя слова логически связаны друг с другом, все вместе – пьяная икота, утробное урчание мысли. Внутреннего слияния не происходит. Как все это, однако, заношено! И любовь тут – точно королевская багряница, в которую кутается унылый фигляр.

На мгновенье я вдруг растрогался:

Когда девчонки в лес идут,
Кюре, довольный, ждет крестин…

И неожиданно подумал о городе и деревне. Попытался осмыслить. Город – это Жироду и нынешние обстоятельства. Но и место, где все утрачивает смысл. Вследствие игры ума. Так же как и этот барышник. Но он-то из-за собственной ничтожности. А деревня – это непрерывность. Преемственность. Течение времени и перемены, которые им движут. В землю бросают семя, и оно всходит. (Если девушки идут в лес, кюре доволен, так как вскоре будут крестины.)

Вот так, медленно, рождаются народные песни, танцы и прекрасная мебель. В средневековых деревнях течение времени имело смысл. Человек там был звеном в цепи поколений, и благодаря церкви мертвые присутствовали в его жизни. Мертвые – как звенья непрерывности. А наши мертвые – это пустые клеточки. И наше лето никак не связано с осенью: это просто времена года, следующие друг за другом. О беззащитные современные люди! И Жироду надеется спасти человечество с помощью разума! Но разум, который все разбирает, а потом складывает по кусочкам (когда он не забавляется и развлечения ради не корежит всю конструкцию, чтобы добиться живописности), теряет ощущение сущности. Когда анализируют «обстоятельства», утрачивают человека.

Я не старик и не юноша. Я – тот, кто переходит из молодости в старость. Я – нечто в развитии. Я – старение. Роза – не то, что возникает, распускается и увядает. Это описание, пригодное для школьного учебника. Анализ, умерщвляющий розу. Роза – не ряд последовательных состояний. Роза – это чуточку грустный праздник.

Мне самому понятно, что я хочу сказать, но чтобы стать яснее, мне надо бы еще поразмыслить.

Этот фронтовой театр. Во время войны… Я согласен умереть, чтобы «напитать», но не ради спасения Мильтона. С Мильтоном я не желаю иметь ничего общего. Я грущу из-за нелепой планеты, на которой живу. Из-за всего, что я не способен понять… Я устал.

Но это странная усталость. Нет сомнений, что частично я обязан ею Ж. Для меня самое мучительное – это когда друзья обесцениваются в моих глазах. Разумеется, я не узнал о нем ничего такого, чего бы уже не знал. Но он мне надоел. Меня от него тоска берет. Я сказал себе: «Мне на это наплевать. Меня это не интересует.» Не интересует, что он думает о жизни. Или о выпивке. Меня вообще не интересует выпивка. Нет, в жаркий вечер кувшинчик с друзьями – пожалуйста. Но не как постоянное занятие. И меня не интересует, во что превращаются вещи в его руках. Он услышал прекрасные истории, и они стали уродливыми… Вот так. Я вернулся с 10000 метров. Еще один призрак рассеялся. На высоте 10000 метров находится необитаемая, населенная неведомыми существами территория, откуда земля кажется вогнутой и черной, и где движения становятся медлительными, как у человека, плавающего в сиропе. И где пониженное давление (1/10 от нормального) может привести к тому, что жизнь улетучится из тебя; и где выдыхаешь лед, так как при 51° мороза пар от дыхания оседает тончайшими ледяными кристалликами на внутренней стороне маски; и где угрожают десятки всевозможных аварий, из которых отказ кислородного прибора прикончит тебя мгновенно, а отказ системы обогрева превратит в лед… Да, все так! И все совсем по-другому. Все это только призраки.

Само собой, на приборной панели есть прибор, контролирующий подачу кислорода, и его священная стрелка куда важнее устройства, которое измеряло бы, скажем, пульс; однако здесь все по-другому, и стрелка превращается в абстракцию. Ее не видишь.

Просто время от времени чуть сдавливаешь пальцами идущую к маске резиновую трубку, чтобы убедиться, что она упруга, что молоко поступает в соску, и тихонечко посасываешь. В этом нет ничего возвышенного.

Что же касается отказа системы обогрева… На высоте я чувствовал себя вполне прилично. Мне было тепло. А главное, меня восхищало, что тепло распределяется по всему телу, что оно восхитительно обволакивает. Я-то боялся, что провода обожгут кожу. Ничего подобного. От соприкосновения с проводами никаких особенных ощущений у меня не возникало. И я подумал: «Вот если бы такое было у эскимосов!» Шедевр техники: теплая, равномерно нагретая ванна, если не считать пальцев: они у меня мерзли. Но, в общем, было вполне терпимо. И я медленно плыл в небе, держа руку на пулеметной гашетке.

Потом, после посадки:

– Какая температура?

– Минус пятьдесят один.

– Ты, надо полагать, не вспотел?

– Нет, но страшного ничего. Ты говорил, что горячий кислород обжигает нос, а у меня нос был в порядке. Зато уж унты…

– Ну, распариться в них ты не рисковал: ты же забыл включить обогрев ног…

А я-то до этого крещения воображал себе, как буду тихо бороться с потерей сознания. Воображал противно взмокшую кожу, потный лоб и ладони, и ласковое, сладостное ощущение, нечто вроде расслабленности всех чувств.

Нет, на 10000 метров куда легче, чем на 6000 без кислорода. И сразу развеялось мое преклонение. Преклонение, которое у меня было в Тулузе перед майором Миши, единственным знакомым мне военным летчиком, который не боялся большой высоты. Таких героев с каждым днем становится все больше. Они совершают посадку и почти ничего не рассказывают о том, что испытали. Все герои такие. Суровые, немногословные. Когда начинаешь их расспрашивать, они пожимают плечами: «Дружок, тебе этого не понять!» Но теперь я раз и навсегда открыл причину их молчания. Им просто нечего рассказать. Нет тут никакой отваги. Отвага – в выборе. И, тем не менее, Миши отважен. Заранее ведь известно, что на десяти тысячах метров существует определенный процент несчастных случаев из-за аварий с кислородом, а это смерть. Поэтому необходимо усилие, чтобы безоглядно выбрать эту профессию. А потом, разумеется, надо решиться, уже всерьез вылететь на охоту за призраками. Чек на смелость приходится оплачивать. И это достойно награды. Только это. Но стоит убить призрак, и все превращается в профессию, ничем не отличающуюся от прочих. Летать на высоте 10000 метров или чинить соломенные стулья… Потому что призрак уже мертв. Всякий раз я познавал это заново. Когда возил по ночам почту. Когда тонул в море. Когда подыхал от жажды. А Дора… Дора не учил людей храбрости, он заставлял их убивать призраки. Я уже писал об этом в «Ночном полете».

Еще позавчера я так радовался, когда узнал, что приказ о моем первом вылете отменен. Какой же я был болван!

Но тогда получается, что храбрость – это нечто, отличающееся благородством от буйства подвыпившего унтер-офицера: она становится условием познания самого себя. Разумеется, разумеется, драмы существуют только социальные. Драма – это когда болеет ребенок. Драмы бывают только у других. Свое, собственное, никогда, ни за что не бывает драматическим. Полет на десяти тысячах метров. Взрыв, и больше

ничего нет. Но в другого-то не влезешь. Другой – это территория, у которой не существует границ. И если замерзает маленькая девочка, это куда страшней, чем когда при 50° мороза отказывает обогрев. Я знаю холод, знаю жажду, знаю незащищенность, но и холод, и жажду, и незащищенность – других.

И потом, не знаю почему, желание все брать на себя. Я брал на себя их 10000 метров. В этом «моя война». И это вовсе не дурацкие манипуляции тореадора, намеком на которого меня однажды хотели уязвить. Группы 1/33 и 2/33 потеряли, если не ошибаюсь, 11 экипажей из 20, не то 25. Они единственные, кто работал и рисковал. Поэтому иногда мне становится грустно в своей комнатке. Слишком дорого все это обходится. Я не очень понимаю, за что стоит платить такую цену. Во всяком случае, не могу назвать. Но существует, вне всякого сомнения, и противоположная точка зрения, поскольку я верю в нее. Сегодня я оглох на одно ухо, но не из-за обычного шума в ушах (с этим-то как раз налаживается), а потому, что впервые спустился с такой высоты, и теперь до завтрашнего дня ухо у меня будет заложено.

И опять я думаю о непостижимом противоречии. Итак, тело как таковое. Тело, которое любит вечерний отдых у огня, наслаждается им. Которое сворачивается под одеялом, готовясь заснуть. Которое умеет улыбаться. И то же тело, но отличающееся от меня. Служащее всего лишь орудием. Тело, которое гонят на пахоту, словно вола. Которое заставляют примириться со свистом в ушах или согласиться на то, что его сожгут, поджарят. Как позавчера произошло это с его товарищами. Тело, которое всего лишь «послушное орудие». И в нем живут два чувства: уныние перед лицом возможной смерти, как нынче вечером. И грустные размышления о садах, которые затворятся для него. Для этого достаточно молнии с «мессершмитта», от которой ты внезапно вспыхнешь, как дерево. Она сверкнет в чистом, безоблачном небе. А затем безмолвное вертикальное падение. Те трое, один из которых спасся на парашюте, ничего не видели. Разве что как вдребезги разлетелись бортовые приборы. А потом огонь, точно в кишках заурчало. Незримая работа огня. Вступление огня в свои права. И он, этот третий, покинул свой дом. Я, разумеется, тоже не из числа «несгораемых». Возможно, мне придется убить последний призрак. Это наполняет меня грустью, от которой сжимается сердце. Мечтаешь о роскоши, о висячих садах: мне они всегда казались олицетворением роскоши. И еще о плоти. О запахе плоти, от которого мгновенно защемит сердце. Платье расстегнуто, и ударяет теплый аромат, от него кружится голова. Но в то же время и другое чувство, которое я вновь испытаю завтра. Когда буду действовать. Тело – это всего лишь средство, и

большого значения оно не имеет. Для тела не существует трагедий. Я прекрасно это знаю: для тела не существует трагедий. Иногда я бываю голый и мерзну.

И все-таки мне нужно многое сказать о войне. Не потому, что я тут видел что-то из ряда вон выходящее. Но здесь у меня есть точка зрения, и как всякая точка зрения, она плодотворна. Внутренняя точка зрения. Мне пришлось встать на нее, хотя зрелище оттуда открывается унылое. Нет, не целиком, но отчасти.

Прежде всего, я радуюсь всему, что немножко мне досаждает, – неудобствам, холоду, сырости, потому, что они позволяют сполна ощутить единственно возможную здесь роскошь: круглую печурку, где так славно гудит огонь, или мою постель на ферме (я живу на ферме), перину, ставшую для меня воплощением всех излишеств. Люблю вечером ложиться в заледенелую постель и, свернувшись калачиком, потихоньку согревая ее собственным теплом, отходить ко сну; люблю струйку холода, что скользнет внутрь, стоит лишь пошевелить ногой. Как хорошо в постели, когда снег растаял и когда, разумеется, меня не донимает бронхит!

Потом, конечно, полеты. За линию фронта я пока не летал. Но в воздух уже поднимался. А поскольку существует риск встретиться с немецкими истребителями, перед вылетами меня обучали обращению с пулеметами. Склонности к спорту у меня нет. Но тут, видимо, какая-то неувязка: мне нравится все, что заставляет меня вылезать из своей шкуры. Не люблю высоты. Десять тысяч метров – это нежилой мир, и меня все время преследует мысль, что авария кислородной маски придушит меня, как цыпленка.

Моя раздвоенность и потеря себя. Мне нельзя обращать внимание на этот утробный страх, которому я, как всякий, могу поддаться. Наружная, видимая жизнь не представляет никакого интереса. Меня в ней нет. Я живу не здесь. Просыпаясь, я должен ощущать, что доволен собой. Да, товарищи – это трудная проблема. Прежде всего, проблема, – кто чего стоит. Существует тьма способов оценивать других. И никогда по-настоящему не известно, с какого боку браться за эту проблему. Особенно, если ты всю жизнь предпочитал любителей Баха любителям танго.

А потом, сражаешься бок о бок с людьми, которые, стоит случайно раздаться хорошей музыке, выключают репродуктор. И обнаруживаешь в них высочайшие, главнейшие достоинства. Оказывается, те, что воюют лучше всех, воюют по-настоящему, делают это по другим причинам, нежели я. Они дерутся не ради спасения цивилизации. И вообще мне следовало бы вернуться к содержанию понятия цивилизации, пересмотреть его.

На сердце у меня чудовищным бременем лежит устрашающая нелепость нынешней эпохи. Нелепость все та же: нынешняя эпоха не является эпохой мысли. Дело в том, что вот уже целое столетие все меняется чересчур быстро, а мысль слишком медленно переваривает эти изменения.

Вообразите себе физика, которому вперемешку подбросили сотни две известных феноменов и тысячу новых, – задача окажется ему не по зубам. Пришлось бы ждать века, пока не появится человек, который потихоньку все это переварит, создаст новый язык и упорядочит картину мира. Потому что в математической физике не было бы больше системы. Все это крайне горько. Сейчас существует не так уж много возможных позиций: либо согласиться стать рабом г-на Гитлера, либо решительно отказаться от покорности ему, заранее принимая весь риск подобного непокорства. И сделать это молча. Я не желаю выступать по радио[59]: это неприлично, если у тебя нет некой библии, которую ты можешь предложить людям. Я принимаю весь риск своего отказа покориться. Только мне необходимо перейти грань, чтобы как следует почувствовать, от чего отказываешься, отказываясь от мира. От чего я в принципе должен отказаться. От личной свободы. От тепла женского тела. Возможно, от жизни. И я спрашиваю себя: ради чего? Это столь же горько, как религиозные сомнения. И, безусловно, столь же плодотворно. Это невыносимое противоречие, которое вынуждает искать истину. Я ведь действительно по шею сижу в противоречиях. И либо сдохну, либо ясно пойму себя самого. Но, уж разумеется, духовную умиротворенность принесет мне не «Пари-суар». И не г-н Рамон Фернандес[60]. И не наше гнусное радио. Вчера я в полном остолбенении слушал Пьера Дака[61]. Будь я иностранцем, я, послушав, как Франция изрыгает все эти непристойности, счел бы, что необходимо немедленно очистить мир от подобной скверны. Что же касается «Пари-суар», вчера в ней была напечатана огромнейшая умопомрачительная статья о боге войны Гитлере. Чудовищней всего был рекламный трюк насчет того, что Гитлер всегда умел мечтать. Это якобы доказывает его неоспоримое величие. И цензура пропускает этакое! Право, все они, словно мартышки перед удавом. Наша страна погибнет, если не будут ясно названы причины, по которым она должна воевать… Но, видимо, ее ничто не вразумит. Неудивительно, что она тащится в хвосте за англичанами: мы не способны выразить себя. Мы не способны обрести лицо. Англичане сражаются за свои обычаи, за свой цейлонский чай, за свой уик-энд. Мы ощущаем смутную солидарность с ними, но у нас нет столь всеобщих и столь отчетливых обычаев.

Итак, Англия стала совестью г-на Даладье[62]. Англия – наша совесть. Мы вышли бы из войны, если бы Англия не пристыдила нас. На Англию злятся, как на чрезмерно щепетильную совесть. И вот тут-то отчетливо проявляется убожество Жироду и его дозированности[63]. Интеллектуальные ухищрения в качестве ответа на идею расы и единства[64]! Никчемная словесная игра! За дозированность, за рецепт коктейля на смерть не идут. Это безумно абстрактно, это интересно, соблазнительно для рассудка. Но сердцу ничего не говорит. Мне, чтобы согласиться сгореть, этого явно недостаточно. (Я обнаружил, что давний перелом плеча не позволит мне воспользоваться парашютом.)

Что ж, тем лучше, потому что я иду на большой риск. И это тем более обязывает меня понять. Когда мне в лицо крикнут: «Хайль Гитлер!» – я не воскликну в ответ: «Да здравствует дозированность!»

И вновь мне ясна одна вещь. Может быть, на этой непостижимой вершине, где я восседаю в полном одиночестве, она слаще всего. Нежность к тем, кого я люблю, и еще большая – ко всем людям. И так бывает всегда. Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И хочется сказать: «Да низойдет мир в ваши сердца».

Письмо X.
[Тулуза, 26 октября 1939 г.]

Отчаянно умоляю тебя: воздействуй на Шансора[65], чтобы меня направили в истребительную авиацию. Я все сильней ощущаю удушье. В атмосфере этой страны невозможно дышать. Боже милостивый, чего мы ждем[66]!

К Дора[67] насчет перевода в истребители не обращайся, пока не будут исчерпаны другие возможности. Я нравственно заболею, если не буду драться.

Я могу многое сказать о нынешних событиях. Но сказать только как солдат, а не как турист.

Для меня это единственная возможность высказаться, я делаю по четыре вылета в день, я в хорошей, даже в слишком хорошей форме, что все и усугубляет: здесь из меня хотят сделать инструктора по обучению не только штурманов, но и пилотов тяжелых бомбардировщиков. А в результате я задыхаюсь, несчастен и способен лишь молчать (…) Сделай так, чтобы губы меня направили в эскадрилью истребителей (…)

Я не люблю войну, но не могу оставаться в тылу и не взять на себя свою долю риска (…)

Надо драться. Но я не имею права говорить об этом, пока в

полной безопасности прогуливаюсь в небе над Тулузой. Это было бы непристойно.

Верни мне мое право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, кто представляет собой какую-то ценность, надо держать в безопасности! Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. И ежели представляющие собой ценность являются солью земли, они должны смешаться с землей.

Нельзя говорить «мы», когда стоишь в стороне. А если говоришь, тогда ты просто сволочь.

Письмо X.
[Тулуза, «Гран отель Тиволье», начало ноября 1939 г.]

Я только что провел двое суток на дежурстве. Спал на полу среди телефонов и шифровок. Просыпался в беленой комнатушке, ел в промерзшем буфете, словно мальчишка в школьной столовке. И находил в этом невыразимую радость. Ощущение домашних шорохов, будничности, кладовок. Мне хотелось бы раствориться в этом. Потому что я не вижу смысла в обломках ничтожного буржуазного существования, в этом отвратительном Лафайете[68], в этом хождении по взлетным полосам, в шатании вокруг ангаров. Я не гожусь для этого. Мне хочется стать пищей для корней дерева. Тогда бы я чувствовал птиц, что находят на нем приют. Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии или летчика-истребителя, или монастырского затворника, в том и состоит, что потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе естественного переваривания превращаешься в нечто иное. Просить для меня не тягостно. Я не прошу ни чинов, ни пособия. Я прошу, чтобы меня послали на фронт, в истребительную авиацию. Для меня это жизненная необходимость. И пусть это трудно, пусть даже безумно сложно, я все равно не испытываю угрызений совести оттого, что прошу: это первая моя к тебе просьба о столь большой услуге. Не ходи сразу к Дора. Дора меня не выручит. Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, – под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кто не сволочь, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне. Как можно скорей добейся моего перевода в истребители.

Здесь я изнываю от мрачного сознания своей бесполезности. Я не питаю никаких иллюзий насчет трудностей, ожидающих меня в истребительной эскадрилье, но в любом случае вновь с огромной радостью обрету почву под ногами, как в ту пору, когда

я был пилотом почтовой линии. Среди ее летчиков я был как бы частицей земли, которая питает дерево, и не испытывал потребности в понимании. Ведь дерево – это смысл земли. Этим все объясняется.

Письмо X.
[Орконт, середина декабря 1939 г.][69]

Грязь. Дождь. На ферме мучает ревматизм. Пустые вечера. Неясная тоска. На высоте 10000 метров испытываю тревогу. И страх тоже. Естественно: все, что положено людям. Все, чтобы быть человеком среди людей. Чтобы слиться с такими же, как я, потому что, отъединись я от них… грош мне была бы цена. Презираю сторонних наблюдателей. Всех этих Ж., о которых тебе говорил Декарт[70] и которые ничего не вкладывают в свою деятельность. Я обрел то, что должен был обрести. Я – как все. Мерзну, как пес. Боюсь, как все. Страдаю от ревматизма, как все. И возможность выбора у меня не больше, чем у остальных. У них есть жандарм. У меня же нечто, обладающее куда большей властью, чем жандарм. Разумеется, я развлекаюсь, распевая, с ними застольные песни. Но и они – тоже. Это, правда, не мешает им, уходя в увольнение, ободрять меня, утешать, поднимать мой дух и дружески похлопывать по плечу. Я бы предпочел быть никому не известным солдатом.

Письмо X.
[Орконт, 22 или 23 декабря 1939 г.]

Печальный день. И наша и соседняя группа, стоящая в Сен-Дизье, потеряли по экипажу: их сбили в один и тот же лень. Сюда приезжал на сутки Кессель[71], один из ближайших моих приятелей, и я покатал его на военном самолете. Кессель ничуть не изменился (…) Я с любовью вспоминаю свою аварию в Ливии[72], наше отчаянное положение, вынуждавшее меня куда-то идти, и пустыню, которая потихоньку пожирала меня. Я преображался в нечто иное, оказавшееся не таким уж скверным. (…) Ночь, тонущая в песках, и долгий полет среди звезд. Разве не в этом мой долг? Хочу в это верить, если долгом называется наилучшее выполнение своих обязанностей., хотя на языке умозрительных истин это уже не так. И умозрительность доминирует над милосердием. Она уже более высокий уровень. (…) От всего этого такой привкус, что меня тошнит. В небе можно попытаться сделать что-то стоящее. Там от меня никто ничего не требует, и задание поручают мне не для того, чтобы выжать из

меня соки, а потому что мою кандидатуру предпочли ста другим. Ты видела эту толпу порученцев, алчущих продвижения? Я другой породы. Нет там могучего дерева, что силой отнимает у земли ее сокровища и дивно истощает ее.

Письма Леону Верту[73]
[1939 г.?]

Дорогой Верт!

Проездом обнимаю вас (в Париже я всего на несколько минут). Сегодня днем прогулялся по исключительно скверно мощеным закоулкам и любовался там устроенным специально для меня – красивейшим в мире фейерверком. Набил несколько шишек в самолете – и все.

Обнимите Сюзанну[74].

Тонио

[1939 г.]

Дорогой Верт!

Я здесь проездом: через десять минут отправляюсь на двое суток в Тулузу на испытания. Надеюсь повидаться с вами., когда поеду через Париж обратно.

Полеты прошли хорошо.

Будьте добры, скажите Консуэло[75], что я пытался связаться с ней во время моего краткого пребывания тут и надеюсь, что она окажется в пределах досягаемости, когда я поеду обратно; я ее предупрежу (позвоню из Тулузы).

Передайте ей прилагаемую бумагу, которая нужна ей для квартиры; я ее подписал, а она должна сама отнести ее, чтобы тоже подписать.

Бесконечно благодарен. Обнимаю вас обоих.

[конец ноября 1939 г.]

Дорогой Леон Верт,

Я отправляюсь на фронт (авиагруппа 2/33, полевая почта 897) в дальнюю авиаразведку. Поскольку я не очень кровожаден, мне это больше по душе, нежели бомбардировочная авиация.

Как жаль, что вас не будет со мной в ночь перед посвящением в воины…

Завтра у вас званый обед.

Всякий раз, открывая «Марианну»[76], я чувствую толчок в сердце, и всякий раз я доволен.

Дорогой Леон Верт, дорогая Сюзанна, от всего сердца обнимаю вас.

[1939 г.]

Дорогой Леон Верт,

Ваше письмо было первым – я получил его, когда еще ни от кого не ждал писем, и оно доставило мне огромную радость.

Я написал вам длиннющее письмо, но сразу же его потерял! Однако мне хочется подать вам весточку, что я жив, и потому я нацарапал эти несколько строчек; скоро напишу еще.

Я все сильней люблю вас.

Тонио

Письмо матери
[Орконт, декабрь 1939 г.]

Мамочка!

(…) Живу я на очень милой ферме. Здесь трое детишек, два деда, тетушки и дядюшки. В очаге все время пылает огонь, и я отогреваюсь возле него после полетов. Мы ведь летаем на высоте десять тысяч метров при… пятидесяти градусах мороза! Но на нас столько надето (одежда весит 30 кг), что мы не очень мерзнем.

Странная война на малых оборотах. Мы еще хоть что-то делаем, а вот пехота! Пьер[77] непременно должен заниматься своими виноградниками и коровами. Это куда важней, чем быть при шлагбауме на железной дороге или капралом в учебной роте. У меня впечатление, что демобилизуют еще многих: промышленность должна продолжать работать. Умирать от удушья бессмысленно.

Скажите Диди[78], чтобы она время от времени писала мне. Надеюсь, недели через две всех вас повидать. Какое это будет счастье!

Ваш *Антуан*

Письмо Х.
[Орконт, декабрь 1939 г.]

(…) Мне советуют прямо сейчас взять отпуск, так как следующие две недели и еще долго потом дел у нас почти не будет.

Не думай о том моем письме. Все это очень противоречиво и трудно объяснимо. Я вовсе не грущу, оттого что сделал выбор, я просто плохо понимаю жизнь, да и сам для себя чересчур сложен.

Не знаю, где применить себя. Трудные моменты – это охота за призраками, – одним, другим, третьим. Поначалу мне не нравилось подниматься на десять тысяч метров. Не нравилось воевать. Нет во мне воинственного хмеля, и я очень неясно вижу, куда идет наше поколение. Все это из-за радио, «Пари-суар»., Ж., некоторых разговоров. Дело вовсе не в трудности полетов на десяти тысячах метров, не в грязи, не в том, что рискуешь жизнью. Остается одна лишь горечь, потому что здесь нет радости созидания, победы или охоты. Для меня невыносимо стоять в стороне от событий. Когда начинаешь последовательно сдирать оболочку со всего, что тебя окружает, она отпадает, и тебе становится худо. Но в то же время понимаешь, что это всего-навсего видимость, и поэтому, одолев призрак, плюешь на него с высоты десять тысяч метров. Только находясь в самом центре, в дерьме, обретаешь ясность. А оболочку необходимо отшелушивать. (…)

Письмо Леону Верту
[Орконт, конец января 1940 г.]

Дорогой Леон Верт,

Статья Поллеса[79] вызвала у меня отвращение и горечь. Мне бы очень хотелось, чтобы вы удостоверили, что я вовсе не такая сволочь, каким представлен в его опусе!

Прилагаю записку для Корню[80]. Передайте, пожалуйста, если только не считаете ее чересчур глупой.

Мы перебазируемся! Здесь нас задерживает только снегопад, из-за него мы не можем улететь. Так что когда вы снова навестите меня, то уже не увидите ни нашей столовой, ни моей великолепной архиепископской кельи. Другая фермерша будет топить мне печку, и во дворе я буду встречать других уток. Это грустно: здешние стали приручаться, и потом, я так привык к своей печурке, перине, полу в красную клетку… Короче, вся эскадрилья сидит в ожидании.

А все это из-за наступления (?) на Бельгию[81]. И нам надо будет колонизовать новых туземцев, приручать новых уток, облетывать новый сектор (адрес, очевидно, останется прежний: полевая почта 897). Все это, Леон Верт, достаточно странно и немножко грустно.

И вообще вся эта война немножко странная и грустная.

До свидания, Леон Верт, вы мне очень дороги.

Тонио

Письмо Х.

[27 января 1940 г.]

«Отель де Лан»[82].

Мне так опротивела моя новая жизнь! И центральное отопление, и зеркальный шкаф, и вся эта полуроскошь, и это буржуазное существование. Постепенно и только сейчас я начинаю понимать, как мне нравился Орконт. Насколько жизнь на ферме, моя промерзшая комната, грязь и снег помогали мне примириться с самим собой. А десять тысяч метров – обрести вес.

И вот опять все пошло прахом. Я не способен собрать себя. Там я исполнял свои обеты. Начинал потихоньку… потихоньку оттаивать. Но что я могу сделать с этой машиной, которая ни черта не стоит?

Я не хотел жить со всеми ними. Хотел, скорей уж, слиться с ними в их молчании. Хотел приходить извне – со своей фермы или с десяти тысяч метров. И Ольвек[83] очень ошибается, если считает, что я взят в плен застольными песнями в столовой. На равной ноге, да, но без тени снисходительности. И в равенстве я находил такую же радость, как они в пении. Эта ласковая земля – для моих корней. Но для ветвей – все небо, и ветры, прилетающие издалека, и молчание, и свобода одиночества.

Я умею быть один в толпе. Пусть я стиснут ею, но у меня остается своя голова и своя берлога. А теперь я лишился берлоги, лишился неба, и мне некуда тянуться ветвями. Теперь я сжался и не верю в себя. Когда они слишком близко, у меня начинается удушье.

И все же я любил их и люблю без всякой задней мысли. Но у меня потребность – несомненная – выразить их. Я понимаю их лучше, нежели они сами, – и крепость их корней, и великолепную их субстанцию. Но то, что они говорят, не способно заинтересовать меня, если не считать смысла, который, вопреки им, есть в их словах.

Точно так же в моей книге: «Простодушная, она плакала из-за потерянной драгоценности. Она плакала, сама того не зная, из-за смерти, которая разлучит со всеми драгоценностями»[84]. (…)

Все в точности похоже. Все их побуждения проникают мне в сердце, и я гораздо ближе к ним, чем они сами к себе. Но мне сейчас недостает пространства.

А они надоедают мне историями про драгоценности. Но суть-то не в драгоценностях.

Я познаю только при условии, что сам творю свои ветви. Я не способен выразить их, когда меня душит их присутствие. А то, как они сами выражают себя, мне неинтересно.

Я уйду к Витролю[85]. Предпочитаю опасность смерти

иссыханию, которое угрожает мне здесь. Тут я обрел вторую Тулузу. Но без одиночества. Умираю от жажды одиночества. Я – дрянная машина, и мне нужно неведомое горючее. Я чуть ли не кричу караул. Мне просто необходим свет. Дайте мне света. Как сделать, чтобы не погибнуть и принести плоды?

Где я?

Я опьянел от благих побуждений. И словно апельсиновое дерево, отправляюсь на поиски пригодной земли. Но апельсиновое дерево не слишком-то способно передвигаться. Менять почву трудно. У меня нет ничего, кроме инстинкта искателя подземных ключей. Стоит мне оказаться там, где есть ключ, как я точно угадываю его. Но я никогда не знаю, куда идти. Я страшно неудачливое дерево.

Письмо Леону Верту
[Лан, февраль 1940 г.]

…Леон Верт, наступают холода, и я не очень понимаю жизнь, не знаю, куда податься, чтобы быть в мире с самим собой. Теперь для нас не существует даже войны. Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет, и, стало быть, как бы на отдыхе. Остальные после потери шестнадцати экипажей вполне заслужили отдых, но я-то еще ничего не сделал, и уж если вы считаете безрассудным мое участие в войне, то еще более абсурдным сочтете мой отдых, так как я не обрету в нем ничего, что придало бы мне бодрости.

Мы живем в настоящем доме с настоящей столовой, настоящим центральным отоплением, и песни тут уже звучат фальшиво, и у меня нет моей дровяной печки, чтобы сотворить ночь, а я так любил все это; там я мерз, но чувствовал себя великим архитектором огня и любил свою выстуженную (по утрам) комнатку. Ледяная постель – это чудесно, потому что, пока не двигаешься, тебя омывает теплая река, но стоит шевельнуть ногой, и попадаешь в полярное течение; постель с ее Gulf Stream[86] и Ice bergh[87] (правильно написано?) была полна таинственности. В сущности, я не люблю комфорта, который все сглаживает. В умеренном климате мне скучно. Здешние ночи в компании с радиатором центрального отопления и зеркальным шкафом уже не имеют привкуса охоты на медведя, и, проснувшись, мне уже не нужно преодолевать степь в красную клетку, простирающуюся между кроватью и печкой, степь, которую я не решался пересечь, так как стучал зубами от холода. И потом ближние полеты разочаровывают меня: вы же знаете, что это не та война, на которую я рвался. Но между взлетами и

посадками, при этой великой скудости и кругозоре пастуха мне просто необходимо нечто, что вынудило бы меня разбить свою скорлупу. А тут я чувствую себя, как в инкубаторе.

Я ничего не понимаю в этой полуроскошной жизни. Пытаюсь добиться перевода из группы 2/33 в группу 1/52: она продолжает заниматься своим делом. Ко всему прочему, у нас тут полный развал. Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился[88]. Песни и розыгрыши утратили всякий смысл. Леон Верт, вы придете в отчаяние, увидев нас такими…

Мне хотелось бы, чтобы вы знали то, что, впрочем, и так прекрасно знаете: вы мне бесконечно необходимы, потому что, во-первых, я люблю вас сильней – в этом я убежден, – чем остальных моих друзей, а кроме того, потому что мы близки по духу. Мне кажется, я воспринимаю все примерно так же, как вы, и вы неоднократно мне это демонстрировали. У меня часто бывают с вами долгие споры, но, не будучи пристрастным, я почти всегда признаю вашу правоту. А еще, Леон Верт, я люблю пить с вами перно на берегу Соны[89], закусывая его колбасой и деревенским хлебом. Не могу вам сказать, почему от тех минут у меня осталось ощущение дивной полноты жизни, да мне и нет нужды говорить, поскольку вы знаете это лучше меня, но я был тогда очень счастлив и хотел бы повторить это снова. Мир вовсе не является чем-то абстрактным. Мир – это не конец опасностям и холоду. К ним я равнодушен, ни опасностей, ни холода не боюсь, и в Орконте страшно гордился собой, когда, проснувшись, героически растапливал печурку. В каком-то смысле мир – это возможность закусывать деревенской колбасой и хлебом на берегу Соны в компании Леона Верта. И меня очень огорчает, что колбаса стала невкусной.

Приезжайте повидаться со мной, но отправимся мы не к нам в авиагруппу, которая стала даже не грустной, а прискорбной. Мы проведем день в Реймсе и попробуем отыскать хорошее бистро. А потом можно было бы назначить свидание Деланжу[90], а он привез бы Кам[91] и Сюзанну. Приглашаю вас всех на грандиозный пир; приезжайте поскорей и порадуйте меня, но не затягивайте, потому что если я эмигрирую в группу 1/52, то окажусь очень далеко от Парижа.

До свидания, Верт, от всего сердца обнимаю вас.

Тонио

[P.S.] Я встречусь с вами в Лане, в гостинице Англетер, она неподалеку от вокзала – поездом сюда можно добраться за 2 час. 20 мин., это совсем рядом. Есть еще поезд, который приходит в 9 час. 6 мин. вечера. Переночуете у меня. На следующий день

осмотрим Реймс (я не видел собор[92]). Деланж присоединится к нам, мы вместе пообедаем или поужинаем, а потом он отвезет вас в Париж. Как вам мой план?

Запись в книге почета эскадрильи[93]
[1940 г.]

Я был до глубины души взволнован, вновь обретя в третьей эскадрилье группы 2/33 молодость сердца, взаимное доверие и чувство товарищества, составлявшие когда-то для нескольких человек главную ценность старой южноамериканской авиалинии[94].

Здесь все похоже, и я всем сердцем ценю командиров эскадрильи, умеющих быть молодыми, старых профессионалов, умеющих быть простыми, товарищей, умеющих быть верными., и то ощущение дружбы, которое позволяет нам, несмотря на опасности войны, грязь и неудобства, с огромной радостью собираться в простом деревянном бараке вокруг чуть-чуть меланхоличного патефона…

Рад., что вхожу в состав третьей эскадрильи.

Антуан де Сент-Экзюпери

11 февраля 1940 г.

Письмо Леону Верту[95]
[апрель 1940 г.]

Дорогой Леон Верт,

Я был бы счастлив обнять, вас, но Консуэло сейчас зайдет за мной, а я обещал позавтракать с нею.

Попытаюсь увидеться с вами перед отъездом.

N. B.: фронт у Суасона[96] и т. д. держится хорошо. На Сене сумятицы больше, но не безнадежно.

Тонио

Письма матери
[Орконт, апрель 1940 г.[97]***]***

Мамочка!

Я писал вам и очень огорчен пропажей моих писем. Я прихворнул (довольно сильная, хотя и непонятно откуда взявшаяся простуда), но все уже прошло, и я вновь присоединяюсь к авиагруппе.

Не сердитесь на меня за молчание, тем более что его нельзя назвать молчанием, так как я вам писал и был очень несчастен,

оттого что заболел. Дорогая мама, если бы вы знали, как нежно я вас люблю, как берегу ваш образ в сердце, как беспокоюсь за вас! Больше всего на свете мне хочется, чтобы война не коснулась моих близких.

Мамочка, чем дольше тянется война и чем больше от нее угрозы и опасностей для будущего, тем сильней во мне тревога. за тех, о ком я обязан заботиться. Бедняжка Консуэло (…) так одинока, и мне ее бесконечно жаль. Если она вдруг решит укрыться на юге[98], примите ее, мама, из любви ко мне, как дочь.

Мамочка, ваше письмо доставило мне бездну огорчений: оно полно упреков, а мне бы хотелось получать от вас только ласковые письма. Нет ли у вас в чем-нибудь нужды? Мне хотелось бы сделать для вас все, что только в моих силах.

Целую вас, мама, и безмерно люблю.

Ваш Антуан

Авиагруппа 2/33

Полевая почта 897

[Орконт, 1940 г.]

Дорогая мама!

Пишу вам, держа листок на коленях: мы ожидаем бомбежки, которая все никак не начнется. Постоянно думаю о вас (…) И, разумеется, дрожу от страха за вас.

Не получил от вас ни одного письма: куда они подевались? Это меня немножко огорчает. Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы[99], потому что она угрожает и вам. Мне так нужна ваша нежность, милая мамочка. Кому понадобилось, чтобы все, что я люблю на земле, оказалось в опасности? И все же больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разделенные семьи. Смерть мне безразлична, но я не желаю, чтобы она затронула духовную общность. Как мне хочется, чтобы мы собрались все вместе вокруг накрытого белой скатертью стола!

О своей жизни не пишу, да и писать о ней нечего: опасные полеты, еда, сон. Я чудовищно мало удовлетворен. Сердцу нужна иная деятельность. Я чудовищно недоволен тем, чем занята наша эпоха. Чтобы снять с совести бремя, мало примириться с опасностью и подвергаться ей. Единственный освежающий родник – кое-какие воспоминания детства: запах свечей в новогоднюю ночь. Сейчас в душе пустыня, где умираешь от жажды.

Я мог бы писать, у меня есть время, но писать я еще не способен: книга пока не отстоялась во мне[100]. Книга, которая стала бы для меня глотком воды.

До свидания, мамочка. Изо всех сил обнимаю.
Ваш Антуан

Запись в книге почета авиагруппы 1/3[101]***,***
сделанная 23 мая 1940 г.

Приношу самую сердечную благодарность авиагруппе 1/3 и ее командиру Тибоде, поскольку, не прикрой меня товарищи из этой группы, я сейчас играл бы уже в раю в покер с Еленой Прекрасной[102], Верцингеторигом[103] и т. д., а я предпочитаю пожить еще на этой планете, несмотря на все ее неудобства…
Антуан де Сент-Экзюпери

Письмо к матери
[Бордо, июнь 1940 г.]

Дорогая мамочка!
Мы вылетаем в Алжир[104]. Обнимаю вас так же сильно, как люблю. Писем не ждите, так как переправлять их не будет возможности, но помните о моей любви к вам.
Антуан

Письмо Х.
[Алжир, начало июля 1940 г.]

Секунду назад узнал, что во Францию летит самолет – первый, единственный. Отсюда туда ничего не пропускают – ни писем, ни телеграмм.
Мне безмерно грустно.
Многое, слишком многое вызывает у меня отвращение.
У меня плохой характер, а в здешнем болоте это мучительно.
Я делал что мог, выбирал наименьшее зло.
И я совершенно отчаялся.
Когда-нибудь мы, несомненно, вернемся (…).

Письмо Х.
[«Палас», Эшторил, Португалия[105]***, 1 декабря 1940 г.]***

(…) Гийоме погиб[106], и сегодня вечером мне кажется, будто у меня больше не осталось друзей.
Я не оплакиваю его. Я никогда не умел оплакивать мертвых, но мне придется долго приучаться к тому, что его нет, и мне уже тяжело от этого чудовищного труда. Это будет длиться долгие месяцы: мне очень часто будет недоставать его.

Как быстро приходит старость! Я остался один из всех, кто летал на линии Касабланка – Дакар[107]. Из давних дней, из великой эпохи «Бреге-XIV»[108] все: Колле, Рен, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьен, Симон, Лекривен, Виль, Верней, Ригель, Пишоду и Гийоме – все, кто прошел через нее, умерли, и на свете у меня не осталось никого, с кем бы я мог разделить воспоминания. И вот я превратился в одинокого беззубого старика, который сам с собой пережевывает их. И из друзей по Южной Америке[109] не осталось ни одного, ни одного…

В целом мире у меня нет никого, кому можно было бы сказать: «А помнишь?» Совершенная пустыня. Из товарищей восьми самых бурных лет моей жизни остался только Люка, но он был всего лишь административным агентом и пришел на линию позже, да Дюбурдье, с которым я никогда не жил вместе, потому что он никогда не покидал Тулузы.

Я-то думал, что похоронить на протяжении жизненного пути всех, абсолютно всех друзей – удел глубоких стариков.

Жизнь нужно начинать сначала. Умоляю вас, помогите увидеть, что вокруг меня. Перевалив через хребет, я растерялся.

Скажите, что мне делать. Если надо возвратиться, я возвращусь (…)

Письмо X.
[Лос-Анджелес, 8 сентября 1941 г.]

Я изменился с начала войны. Теперь я презираю все, что интересно мне, именно мне самому… Я болен странной, неотвязной болезнью – всеобъемлющим безразличием. Хочу закончить свою книгу[110]. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят:

– Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей?

Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг. Единственной помощью будет избавить меня от споров. Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать,

не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры можно меня втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее – все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное.

Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я обольщаюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно, ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне.

Пакостная газетная война[111] впервые почти меня не задела. В иные времена я потратил бы на это месяц. Но теперь что бы обо мне ни говорили – я только посмеиваюсь. Я очень спешу. Спешу изо всех сил. Мне недосуг прислушиваться ко всему этому. Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, – я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше. И все, с этим покончено. Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме, я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, уставший от жизни. Нет. Я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита…

Письмо Льюису Галантьеру[112]
[ноябрь 1941 г.]

Дорогой Льюис!

Я уезжаю в воскресенье. Дела, наконец, пошли на лад. У меня даже появилась надежда избавиться от этих приступов, которые повторялись все чаще и чаще, отравляя мне существование, и, к сожалению, вовсе не были связаны с нервами! Разве бывает такая депрессия, от которой просыпаются в три часа ночи, стуча зубами и дрожа всем телом в сильнейшей лихорадке с температурой 104–105[113]! Ни от какой депрессии нельзя спастись сульфамидом, специальным антисептиком, а я, приняв

сульфамид при жесточайшем приступе, к вечеру того же дня вполне приходил в себя и мог пожаловаться лишь на небольшое повышение температуры и легкую тошноту…

Но это лекарство, каждый раз приносившее мне облегчение, – опасная штука. С другой стороны, что со мной станется, не окажись его в нужную минуту под рукой? Всю войну я таскал его с собой в кармане на случай, если угожу в плен!

Все мыслимые анализы подтверждали, что приступы у меня – воспалительного характера. Лейкоциты и т. д. (да еще характерный озноб в придачу). Но у меня не было болей, которые точно указывали бы на очаг инфекции, и потому все лекари сходились на том, что надо удалить желчный пузырь – единственный орган, мало-мальски меня беспокоивший. Самому-то мне это недомогание казалось пустячным по сравнению жестокими приступами лихорадки, и я упорно отказывался от операции. Мне хотелось доказательств поубедительней.

И вот, чем дальше, тем больше я верю здешнему диагнозу. В Калифорнии я поначалу перенес за неделю три приступа, а после операции, несмотря на то, что она была мучительной, несмотря на то, что нервы у меня расшатаны, несмотря на тысячу дел, от которых чудовищно страдает моя книга, несмотря на временные осложнения, у меня не было ни единого приступа.

Конечно, бывало и раньше, что приступы месяцами не повторялись, так что в полное исцеление я поверю еще не скоро. Но, во всяком случае, последнее время лихорадка трепала меня очень уж часто, и этот спокойный месяц кажется мне добрым знаком.

Пишу обо всем этом потому, что вы, по-моему, подозревали будто я, как юная неврастеничка, лечусь от мнимых недомоганий, а дело-то было в очевидных, сильных и частых приступах, которые, не будь на свете сульфамида, укладывали бы меня всякий раз на две недели в постель и, возможно, свели бы в могилу. Да и что это была за жизнь! Если бы у меня в группе кто-нибудь проведал об этой хвори, меня бы мигом отправили к моим дорогим бумажкам, и никто не доверил бы мне самолет со всем экипажем; я не смел жаловаться, потому что боялся, как бы меня насильно не спровадили в тыл, так что приходилось вылетать на задания и подниматься на большую высоту с немыслимой температурой. А однажды, как раз когда меня лихорадило, к нам явилась с проверкой медицинская комиссия и пришлось наврать врачам с три короба о приступе малярии, хотя за все время, что я провел в колониях, эта дрянь ко мне не пристала.

Вы не знали о моей болезни только потому, что сульфамид с грехом пополам помогал мне держаться. Но если бы вы видели,

как за несколько часов до приема лекарства я стучу зубами от температуры 105, вы бы сами послали меня к хирургу. И я наверняка лишился бы почти здорового желчного пузыря только потому, что его, за неимением иного объяснения, облюбовали господа врачи. Замечу в скобках, что рубец убрали не для того, чтобы заменить его новым, а для уничтожения очага нагноения. [Рисунок: схема трех стадий состояния рубца.] (На самом деле выступающий рубец заменили плоским.)

Думаю, любой лекарь согласится, что такой выступающий рубец (…) становится постоянным источником сильной инфекции, сказывающейся (…) на почках. Любой, кто бы ни обнаружил такой неиссякаемый источник заразы, послал бы меня на операционный стол.

Простите, что так разболтался о своих болезнях. Это вовсе не в моих правилах, и, по-моему, я всегда говорил обо всем этом. куда меньше, чем мог бы, с моими-то хворями. Но мне, как-никак, пришлось три невыносимых года молча терпеть эти хвори и не лечить их – так не сердитесь же, что мне захотелось выговориться!

(Помните обед на 21-м этаже[114] с вашей племянницей? Я тогда ушел работать. Это была неправда. Я ушел потому, что чувствовал, как поднимается температура, и у меня буквально подкашивались ноги).

Дорогой Льюис, я вас очень люблю. Клянусь никогда больше не мучить вас подобной стариковской болтовней. Сам понимаю, как это противно, но я сейчас только об этом и думаю. Вот выговорился – и кончено. Буду думать о книге[115]. Заглавие. Война. Европа. И дружба, дорогой мой Лыюис.

Сент-Экс

Письмо одному из противников
[без даты; 1942 г.?]

Мой дорогой друг,

Письмо мое будет несколько сухим. Дело в том, что я люблю ясность. Не вижу смысла тратить силы на сочинение фраз, которые тем цветистее, чем больше в них яду. Мне скучно играть намеками; впрочем, не меньшую скуку навевает и другая крайность – многословный поток проклятий. Не хочу ни ослаблять, ни проклинать, ни намекать.

(…) Ах, мой бедный друг, я лучше уйду в монастырь траппистов[116], чем выдержу хотя бы сутки в том обществе последователей Корана, которое вы пытаетесь нам навязать[117], в обществе, где человека ценят не за суть, а за послужной список,

где вместо сердец – манифесты, где соседи по лестнице возводится в ранг доносчиков и судей, где нет уважения к внутреннему миру, где вы похваляетесь, что очищаете и оздоровляете личность, а сами постоянно убиваете ее всеми доступными вам средствами, чтобы потом разложить ее потроха на солнышке на всемирной барахолке.

Письмо Льюису Галантьеру
(Написано жирным карандашом)
[январь 1942 г.]

Дорогой Льюис!

Не сердитесь на меня за дурное настроение, которое наверняка просквозит в моем письме. Мое недовольство относится совсем не к вам. Вас я нежно люблю. Но меня трясет от злости. Необходимо дать ей выход.

Что это там за история с датой[118]? Что за судьба меня – вечно утыкаться в дату, якобы совершенно достоверную., а в сущности, вздорную, потому что, случись мне начать свою книгу на полтора месяца позже – и эта столь убедительная дата перенеслась бы на те же полтора месяца. При этом ее можно было бы украсить теми же оправданиями с точки зрения чисто логики.

Почему вы хотите, чтобы я презирал сам себя и, что одно и то же, пренебрегал своей работой? Я думаю, что плотник должен строгать доску так, словно именно от нее зависит вращение Земли. Для человека пишущего это тем более справедливо. Почему вы хотите, чтобы из-за глупейшей истории с датой я a priori[119] махнул на себя рукой и решил: «Будь я господин Паскаль, мое произведение имело бы право быть написанным, а сам я – право на самовыражение. Но поскольку я – всего лишь я, то не все ли равно, удастся мне себя выразить или нет?» Пожалуй, то, что пишет какой-нибудь зануда в «Нью-Йорк таймс», достойно куда большего интереса: Сочинение мое – дрянь, и я только из тщеславия приписываю ему некоторые достоинства!

Раз уж я пишу, меня должно заботить то, что будут думать о моем сочинении и что станет с ним через десять лет, а не то, что подумает о нем 22 февраля некая темная личность с неразвитым вкусом, на которую мне, право же, наплевать. Если я сам доволен своим стихотворением, какое мне дело до того, что его услышат или прочтут через сорок лет после моей смерти, а не раньше? Лубочный образ непонятого поэта, которого людская несправедливость обрекла на нищету, чтобы через сто лет воздать ему должное, всегда представлялся мне глупым и сентиментальным. Да ведь поэт – счастливчик! Не придет же мне

в голову сокрушаться об участи угрей, которые мечут икру в Саргассовом море и никогда не увидят своего потомства!

Одно из двух: или моя писанина хороша и когда-нибудь ее прочтут – мне ровным счетом наплевать, когда именно; или она никуда не годится и привлечь к ней внимание современников может только шумиха – и тогда мне точно так же наплевать, будут ее читать или не будут. Деньги – разумеется. Мне нужны деньги et cetera[120]. Мне они просто необходимы, и я радуюсь, когда их получаю, но смешивать две разные точки зрения для меня совершенно немыслимо. Во мне уживаются два вида эгоизма, из которых один решительно преобладает. Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать то, что хотел. Если я жертвую самовыражением во имя денег, я сам себя облапошиваю.

По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которую я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подействуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление количества – очередной современный миф. Наибольшим влиянием пользуются именно самые труднодоступные журналы; если бы «Рассуждение о методе»[121] прочли в XVII веке всего двадцать пять человек, все равно оно преобразило бы мир. «Пари-суар», хоть и потребляет ежегодно прорву бумаги и расходится двухмиллионным тиражом, еще ничего никогда не преобразила. Вам, конечно, покажется глупым, что я наговорил все это по поводу явно анекдотического рассказа, притом нисколько не заблуждаясь насчет его всемирной ценности, но это противоречие ничуть меня не смущает: пиши я хоть статейки по садоводству, мое мнение было бы таким же. Мы существуем в наших книгах. Речь о том, чтобы существовать достойно. Вот и все.

И не уверяйте меня, что я, мол, не прав, что произведение мне удалось и править его почти не придется. Моя правка почти не затронет элементов чистого вымысла. Это уж точно. Но я в корне изменю силу их воздействия. Это не коснется ни материала, ни внешней формы изложения. Такие перемены только тогда и начинают жить, когда непонятно, в чем они состоят. И я прекрасно знаю, что нужно изменить. Я буду править то, что с трудом поддается определению: жизненность сказанного мною. «Wind, Sand and Stars» покупают до сих пор именно потому, что я все разрушил, когда приехал. Это я хорошо понимаю. Недаром же я столько написал. Мнимой значительностью никого не проведешь. Если в недолговечной газетной шумихе мне случается с опозданием на три года услышать отголоски какой-

нибудь моей статьи, это непременно оказывается та самая статья, которую я перемарывал раз тридцать. Если я натыкаюсь где-нибудь на цитату из своей книги, непременно оказывается, что цитируют именно ту фразу, которую я переписывал сто двадцать пять раз. Трудно углядеть явную, ощутимую разницу между первой и последней редакциями. Бывает, что последняя даже беднее красотами стиля – зато она успела вызреть. Она – зерно. А первая была игрушкой на день. Насчет этого. я никогда, никогда не обманывался.

Я согласен с вами, что вряд ли через десять лет буду мыслить яснее, чем сейчас, и ждать еще десять лет не имеет смысла. Это бесспорно. Самовыражаться надо в настоящем, но я как раз в настоящем себя и не выразил. Я, сегодняшний, стою больше, чем мои сочинения. А не вложить себя в свой труд – это для меня недопустимое малодушие. Во имя какого мифа я должен халтурить? Охотно соглашусь, что, когда пишешь небольшую книжку, не следует нарушать общепринятые сроки, но скажите на милость, разве я нарушил эти сроки? Я потратил на эту работу меньше восьми месяцев. Для меня это рекорд скорости.

Ваше сегодняшнее чтение нравится вам больше, чем то, что вы читали вчера? То же самое будет и завтра. У моей книжки есть свой предел. Ее предел – это я, каков я есть в 1942 году. Вы вправе думать, что я ее порчу, только в том случае, если две, идущие одна за другой, редакции более или менее равноценны. В нашем случае это не так. Где критерий, который позволил бы вам утверждать, что в этой редакции, наконец, виден я? Разница (sic) заметна только мне.

Остается вопрос: а как же Франция? Ну, что до числа читателей, то оно не имеет никакого значения, и мне на это плевать. Мнения не рождаются в толпе. Мнение – это взаимное влияние двоих. Иногда и одного понимающего читателя бывает достаточно.

Если вы имеете в виду животрепещущую злобу дня, то я понимаю вас еще меньше. Все это не более чем прекрасное заблуждение, ведь то, что будет злободневно послезавтра, тоже окажется дьявольски срочным. А события, которые произойдут в конце марта 1957 года! Для людей 1957 года они будут бесконечно злободневны! То, что было насущной заботой в 1942 году, окажется вытеснено из сознания людей, несправедливо, быть может, но безжалостно вытеснено событиями 1957 года! С какой стати отдавать предпочтение одному либо другому? Перед смертью, трезво подытоживая и оценивая все, что было, я не отдам предпочтения ни тому времени, ни этому. Между прочим, у меня есть неопровержимое доказательство: ни разу ни по какому

поводу не пришлось мне пожалеть, что моя книга не вышла в свет неделей, месяцем, годом, полугодом раньше… Важно то, что есть сегодня. Через неделю будет важно что-нибудь совершенно другое, новое.

Ах, Льюис, как вы меня огорчаете!

Сент-Экс

Письмо Льюису Галантьеру
[январь 1942 г.]

Дорогой Льюис!

А) Бронетранспортеры на странице 166[122] неуместны, вдобавок это повторение страницы 72, где желательно дать подробную характеристику действия бронетранспортеров. Я их перенес и заменил отсылкой.

Б) Прилагаемые при сем снаряды – совсем не то, чего бы мне хотелось. Я не сумел сказать главное. Чтобы ухватить эту не поддающуюся определению штуковину, надо было бы потратить недели две. Но я хотя бы избавился от некоторой бессвязности и напыщенности. Впрочем, пользы от этого, по-моему, немного. Не лежит душа.

В) Несколько мелких поправок: стр. 165, 5-я строчка: вычеркните «спокойно», стр. 167, 22-я строчка: после слов «я нисколько не сомневаюсь» добавьте «в нашем спасении», стр. 173, 8-я строчка: замените «вновь обрету» на «восстановлю», стр. 172, сверху: «семена» (вместо «зерен». Слишком много зерен).

Конец приводит меня в отчаяние. Меня заставляют – господи, ну с какой стати! – заменить крик совести дурацким газетным красноречием. Я знаю, что я хочу сказать, что для меня главное. Я знаю, что достигну цели, если сумею убедить читателя стать на такую точку зрения, с которой ему естественно и неизбежно откроется это главное, – а меня под предлогом бог знает каких мифических сроков заставляют либо подменять предмет моего разговора какой-то пошлой дешевкой, либо оглуплять его пояснениями, то есть прибегать к самым что ни на есть неточным и бедным средствам выражения. Действие – единственное, неповторимое, исключительное – вот что позволяет стать на такую точку зрения, благодаря которой все располагается в должном порядке и в которой растворяется автор. Точку зрения нельзя увидеть. Ее можно придерживаться. Истина, не содержащая в себе точки зрения, – это либо дешевка, либо парадокс, который никого ни к чему не привяжет. Вдобавок это омерзительно скучно. От подобных философских рассуждений мухи дохнут. И не зря. Все это никому не нужно.

Вы думаете, мне приятно, что в спешке я не дал плоду спокойно вызреть и был вынужден заменить слова, которые собирался сказать об ответственности, на всякую чепуху? Найди я нужные выражения, ничто вас не резануло бы: вы просто столкнулись бы с некой очевидностью и решили бы, что набрели на нее сами, – но тут-то вам и конец. Вы, сами того не зная, стали бы на всю жизнь моим пленником. На всю жизнь усвоили бы мое мнение. Вместо этого вы, естественно, раздражены бессвязностью, непоследовательностью изложения и тем, что я имел наглость со всем этим вас ознакомить. Словно я показываю ребенка, погибшего еще в материнской утробе.

А я, испытывая, естественно, угрызения совести, хоть мне никак не взять в толк, какая такая разница между апрелем и маем 42-го года, – я вымарываю то, что должен был сказать, ради того, чтобы добиться более гладкого изложения, какое, в сущности, мог бы представить вам и в возрасте пяти лет. И впрямь, стоило ли так уж лезть из кожи вон, выпутываться из стольких болезней, аварий, испытаний, любовных приключений, историй с налогами и прочих пакостей, чтобы, ни на шаг не продвинувшись вперед, удовольствоваться повторением того, чему научила меня еще нянька! Не вижу ни малейшей необходимости твердить в мае 42-го года то, что было очень хорошо известно еще в 1900-м. С этим можно бы повременить и до 2000 года. Более того, это бы уже позабылось и могло бы сойти за нечто оригинальное.

Я совсем выдохся. Написал 200 страниц за шесть дней. При этом не продвинулся вперед ни на шаг. Ничто в мире не заменит времени. Нужно время, чтобы выращивать груши, растить детей и формировать точки зрения. В следующий раз я напишу для Рейхича[123] рассказ. Опишу любовь прелестной блондинки и гусара. Если Ламотт[124] вставит что-нибудь от себя, буду очень рад.

Я тоскую, как горючий камень (между прочим, звучит парадоксально). Сейчас семь утра.

Ваш друг *Сент-Экс*

Письмо X.
[февраль 1942 г.]

Ангельское мое Перышко,

Мне так надо тебя увидеть. Я устал. Взвалил себе на плечи очень уж тяжкую ношу; избавиться от нее без угрызений совести я не могу, а нести ее трудно до изнеможения: странная штука – совесть! (…)

Книжка моя вот-вот выйдет[125]. Как всегда, клевета и зависть

уже наготове.

Ты легко можешь себе вообразить, как взволновалась вся эта шушера, нью-йоркские поддельные французы[126]. Я по тысячам признаков замечаю, как начинает бурлить это болото… Ах, Ангельское Перышко, до чего мне тоскливо, противно, и до чего я устал!

Так-то, мой медвежонок. Я не обольщаюсь насчет своей книжки, ты не думай. Я писал ее в состоянии внутренней несобранности. Мне не удалось сказать то, что я хотел. Умоляю тебя, дай телеграмму, как только получишь ее и прочтешь. Я тебе тут же позвоню. Но ты сразу сообщи мне хоть что-нибудь в телеграмме! Если тебе покажется, что это ужасно, – так и скажи: я ведь, кажется, не тщеславен.

Крепко целую тебя, Ангельское Перышко.

Антуан

Письмо неизвестному корреспонденту
[Нью-Йорк, 8 декабря 1942 г.]

Я знаю, почему я ненавижу нацизм. Прежде всего, потому, что он разрушает надежность человеческих отношений. … Я прожил годы в пустыне, среди лишений, но там я был счастлив: у меня были верные товарищи. (…)

В наши дни мир необъяснимым образом отказывается от того, что составляет его величие… Нацисты объявили евреев символом низости, продажности, предательства, наживания на чужом труде и своекорыстия; их возмущали попытки заступиться за евреев. Они обвиняли заступников в том, что они, мол, желают сохранить в мире продажность, предательство и своекорыстие. Это возвращает нас в эпоху дикарских тотемов.

А я отвергаю эти стадные чувства, отвергаю эту мнимую простоту в духе Корана, отвергаю поиски козлов отпущения. Я отвергаю высшие цели святейшей инквизиции. Я отвергаю пустые словеса, из-за которых бесполезно проливаются реки людской крови (…).

Я недорого ценю физическую смелость; жизнь научила меня, что такое истинное мужество: это способность противостоять осуждению среды. Я знаю, что, когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен[127], от меня требовалось иное мужество, чем то, которое заставило меня вынести два года оскорблений и клеветы[128], но не свернуть с пути, подсказанного совестью. (…)

Письмо жене, Консуэло
[середина апреля 1943 г.]

Консуэло, пойми, мне сорок два. Я пережил кучу аварий. Теперь я не в состоянии даже прыгать с парашютом. Два дня из трех у меня болит печень, через день – морская болезнь. После гватемальского перелома у меня днем и ночью шумит в ухе.

Чудовищные затруднения с деньгами. Бессонные ночи, истраченные на работу, и беспощадная тревога, из-за которой мне легче, кажется, гору сдвинуть, чем справиться с этой работой. Я так устал, так устал!

И все-таки я еду[129], хотя у меня столько причин остаться, хотя у меня наберется добрый десяток статей для увольнения с военной службы, тем более, что я уже побывал на войне, да еще в каких переделках. Я еду. (…) Это мой долг. Еду на войну. Для меня невыносимо оставаться в стороне, когда другие голодают; я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ – не уклоняться от страдания. Искать страданий самому, и чем больше, тем лучше. В этом мне отказа не будет: я ведь физически страдаю от двухкилограммовой ноши, и когда встаю с кровати, и когда поднимаю с пола платок. (…) Я иду на войну не для того, чтобы погибнуть. Я иду за страданием, чтобы через страдание обрести связь с ближними. (…) Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец.

Антуан

Письмо Ж. Пелисье[130]
[Уджда[131]***, 8 июня 1943 г.]***

Дорогой доктор,

Пишу вам это письмо потому, что понятия не имею, когда вернусь. Как радостно было бы получить от вас длинное послание и узнать из него, что нового в мире! Я здесь в абсолютной пустыне. Лагерь. Комната на троих (для меня это стадное житье – тягчайшее из лишений). В столовую гуськом, у каждого в руках котелок, получаешь порцию и ешь стоя. Я как-то выключен из жизни, словно в подземельях вокзала Сен-Лазар. Как вы знаете, я ничего иного и не желаю. Я упрямо делаю то, что считаю своим долгом, что бы ни думала об этом Х.

По правде сказать, мой старый Друг, чувствую я себя очень скверно, и это печально, потому что из-за недомоганий любое дело дается мне труднее, чем восхождение на Гималаи, а такая дополнительная жертва – это уже несправедливо. Любая мелочь оборачивается лишней пыткой. Хожу, брожу на солнышке по огромному лагерю и уже так устал, что временами хочется уткнуться в какое-нибудь дерево и заплакать от злости.

И все же насколько это лучше, чем губительная атмосфера споров и склок! Хочу только одного – покоя, пусть даже вечного. (…)

Я не должен ввязываться в бесконечные дискуссии о собственной персоне. У меня уже сил нет все объяснять, я ни перед кем не обязан отчитываться: кто меня не знает, тот мне чужой. Мне уже не перемениться: слишком я устал, слишком измучен. У меня нет недостатка во врагах, которые меня поучают; мне нужны друзья, которые стали бы для меня садами отдохновения.

У меня нет больше сил, старина. Это печально, хотелось бы хоть немного любить жизнь, а я ее совсем разлюбил. Когда на днях я подумал, что меня вот-вот ощиплют на лету, я ни о чем не пожалел.

Напишите мне о коллизии Жиро – де Голль[132]: судьба нашей страны меня ужасает. Пишите мне что угодно и о чем угодно (вымарано цензурой).

И, знаете, я бесконечно благодарен вам за вашу дружбу, за то, как вы меня принимали, и за тепло, которым я был окружен в вашем доме. Передайте Северине[133] и ее приятельнице: я сгораю от стыда, что забыл их подарок… Я торопился, поскольку мне еще нужно было завернуть в Летний дворец[134], но я больше не буду таким забывчивым.

Обнимаю вас.

Сент-Экс

Неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу[135]?) [Уджда, июнь 1943 г.]

Дорогой генерал!

Не так давно я совершил несколько полетов на П-38[136]. Машина замечательная. В двадцать лет я был бы счастлив получить ее в подарок на день рождения. С болью в сердце вынужден сознаться, что теперь, когда мне уже сорок три и я, как-никак, налетал шесть с половиной тысяч часов на всех широтах, эти игры уже не приносят мне особой радости. Самолет – всего лишь средство передвижения, в нашем случае – военное, и когда я в возрасте более чем почтенном для этой профессии ставлю себя в зависимость от скорости и высоты, к этому меня побуждает скорее желание не упустить ни одной из неприятностей, отпущенных на долю нашего поколения, чем надежда вновь обрести утехи былых лет. Наверное, это все хандра, но, может быть, она здесь и ни при чем. В двадцать лет – вот когда я ошибался. В октябре 1940 года, когда я вернулся из Северной

Африки, куда перебазировалась группа 2/33, мой истерзанный самолет задвинули в какой-то мыльный сарай, и я открыл для себя двуколку, запряженную лошадью. А заодно – и траву, что растет по обочинам, и овец, и оливковые деревья. Эти деревья нужны были совсем не для того, чтобы проноситься мимо окон со скоростью сто тридцать километров в час. Я видел их в их истинном ритме, в неторопливом ритме вызревания оливок. И овцы не преследовали больше одну-единственную цель – снизить мне среднюю скорость. Они снова становились живыми. Они оставляли за собой настоящий помет и отращивали настоящую шерсть. И трава тоже имела смысл, потому что они ее щипали.

И я почувствовал, что оживаю в этом единственном на земле уголке, где пыль – и та ароматна (нет, я несправедлив: в Греции пыль такая же, как в Провансе). И мне показалось, что всю прошлую жизнь я был дурак-дураком. (…)

Рассказываю все это, так как хочу объяснить вам, что в этом стадном существовании на американской базе, в обедах, которые мы поедаем стоя, за десять минут, в хождении взад и вперед между одноместными самолетами с моторами по две тысячи шестьсот лошадиных сил, в неопределенного вида здании, где нас рассовали по трое в каждую комнату, короче, во всей этой страшной человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы мне сердце. Это что-то вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись[137]; это как болезнь, которой приходится переболеть. Я болен, и срок выздоровления неизвестен. Но я считаю себя не вправе быть избавленным от этой болезни. Вот и все.

Между тем я погрузился в страшное уныние, и погрузился довольно глубоко. Мне больно за мое поколение, из которого вылущена вся человеческая суть. Которое не знало иных форм духовной жизни, кроме баров, математики и машин «Бугатти»[138], а теперь вдруг оказывается втянутым в чисто стадную затею. Которое стало уже совершенно бесцветным. Все разучились различать цвета. Возьмите такое явление, как война сто лет назад. Посмотрите, сколько прилагалось усилий, чтобы утолить в людях жажду духовности, поэзии, да и просто человечности. Сегодня нам, высушенным, как кирпичи, смешны подобные глупости. Мундиры, флаги, песни, музыка, победы (в наши дни побед уже не бывает и не происходит ничего, что по поэтической насыщенности сравнилось бы с Аустерлицем[139]. Есть только пищеварение – быстрое или медленное). Всякая лирика смешна. Люди не хотят, чтобы их пробудили к какой бы то ни– было духовной жизни. Они и на войне похожи на добросовестных рабочих у конвейера. Как говорит американская

молодежь, мы добросовестно делаем эту грязную работу. А пропаганда во всем мире безнадежно разводит руками. Ее недуг вовсе не в том, что нет больше ярких дарований, а в том, что во избежание банальности ей воспрещено обращаться к великим мифам, несущим обновление. Человечество клонится к упадку: от греческой трагедии оно скатилось к пьесам господина Луи Вернейля[140] (ниже падать уже некуда). Век рекламы, системы Бедо[141], тоталитарных режимов, век армий, отказавшихся от знамен, труб, отпевания мертвых. Я всеми силами ненавижу свою эпоху. В наши дни человек умирает от жажды.

Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть их слух чем-нибудь вроде григорианского псалма[142]. Если бы я был верующим, то, пережив эпоху грязной, но необходимой работы, непременно ушел бы в Солем[143], не в силах вынести ничего другого. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни XV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось, – это голос, которым вещает робот пропаганды (простите на слове!). Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота, ничего не понимают, кроме робота. И сами превращаются в роботов. Все потрясения трех последних десятилетий происходят по двум причинам. Тупик, в который зашла экономическая система XIX века. И духовное отчаяние. Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником[144]? Люди попробовали проверить картезианские ценности[145], и ни в чем, кроме естественных наук, эти ценности себя не оправдали. Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в. том числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку удовлетворение. Это шире, чем проблема религиозной жизни, являющейся лишь одной из форм жизни духовной (хотя, быть может, религиозная жизнь непременно вытекает из духовной). А жизнь духа начинается там, где видимое бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов. Любовь к дому – любовь, неведомая в Соединенных Штатах, – это тоже духовная жизнь. И крестьянский праздник. И культ умерших. (Я упоминаю об этом, потому что после моего приезда здесь разбилось двое или трое парашютистов. Их быстренько упрятали в землю: ведь служить они больше не могут. И Америка тут ни при чем, это веяние времени: смысл теряет человек как таковой.) Поэтому

совершенно необходимо говорить с людьми…

Нужно говорить с людьми, потому что они готовы примкнуть к кому угодно. Я жалею, что на днях так неудачно выразил свои мысли в разговоре с генералом Жиро[146]. Кажется, мое вмешательство пришлось ему не по душе и было истолковано как отсутствие у меня вкуса, или такта, или дисциплинированности. Я, конечно, сам во всем виноват: легко ли подступиться к столь сложной проблеме, когда перескакиваешь с пятого на десятое? Меня сгубила спешка. И все же генерал поступил несправедливо, столь бесповоротно осудив меня: я ведь преследовал только одну цель – расширение того движения и тех идей, которые представляет он сам. Но военная иерархия автоматически лишала мои аргументы убедительности. Будь я половчее, генерал выслушал бы меня более доброжелательно. Но как бы то ни было, я говорил то, что чувствовал нутром, и преследовал при этом только одну цель: быть полезным ему, а тем самым родине. Потому что мне представляется спорным, вправе ли командир воинского соединения подменять подробный отчет очевидца своим толкованием событий. Не заглянув в официальный отчет, он неспособен подбодрить подчиненного, который утратил веру в себя, потому что некая политическая акция, предпринятая лишь для достижения точности и простоты в отчетах, уязвила его порядочность, патриотизм и честь. А генерал Ж[иро] – хранитель чести своих солдат.

Не знаю, кстати, не из тех ли сомнений, которыми я с ним поделился, почерпнул генерал Жиро отдельные темы своей нашумевшей речи, которую мы позавчера прочли в газетах? Абзац, где говорится о незримом сопротивлении и о спасении Северной Африки, – именно то, чего все жаждали. Это подтверждается теми замечаниями, которые я слышал от людей. Если мое вмешательство сыграло тут какую-то роль – пусть генерал сердится на меня, я все равно счастлив, что принес пользу. Дело совсем не во мне. Так или иначе, эта речь была необходима: она оказалась необыкновенно удачной. Признаться, милый генерал, если не считать этих последних строчек, касающихся моего визита, от которого у меня остался неприятный осадок, я вообще не знаю, зачем утомляю вас этим письмом, таким длинным, неразборчивым (я повредил кисть правой руки[147], и писать разборчивей мне больно) и бесполезным. Но на душе у меня мрачно, и мне нужен Друг.

Ах, милый генерал, какой нынче странный вечер! Какой странный климат!

Из моей комнаты видно, как освещаются окна этих безликих строений. Я слышу, как множество радиоприемников начинают

изрыгать дурацкую музыку на радость толпе праздных людей, приехавших сюда из-за моря и незнакомых даже с ностальгией. Их готовность смиренно принять все, что угодно, легко спутать с жертвенностью и нравственным величием. Но это было бы ошибкой. Узы любви, связывающие человека с другими существами и предметами, не отличаются в наши дни ни задушевностью, ни прочностью, поэтому человек уже не воспринимает разлуку так, как прежде. Это напоминает мне одно нагоняющее тоску словцо из еврейской побасенки:

– Так ты уезжаешь? Как же ты будешь далеко! – Далеко откуда?

Это покинутое ими «откуда» было, в сущности, не более чем бесформенной кучей привычек. В нашу эпоху, эпоху разводов, мы так же легко разводимся и с вещами. Холодильники взаимозаменяемы. Дома тоже: они ведь теперь сборные. Можно сменить жену. Или религию. Или партию. Даже измена становится невозможной: кому изменять? Если далеко, то откуда, а если измена, то кому? Пустыня человеческая. И какое же оно послушное, мирное, это человеческое стадо! Мне вспоминаются бретонские моряки былых времен, сошедшие на берег Магелланова пролива, иностранный легион,[148] обрушивающийся на город, все это сложное переплетение чудовищных аппетитов и невыносимой ностальгии, неизменно возникающее там, где мужчины оказываются в более или менее суровой изоляции от мира. Чтобы их обуздать, всегда были необходимы либо могучие жандармы, либо могучие принципы, либо могучая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении крестьянке, пасущей гусей. Человека, в зависимости от того, к какой среде он принадлежит, в наши дни можно обуздать игрой в белот или бридж. Мы все на удивление надежно выхолощены. Благодаря этому мы, наконец, оказываемся на свободе. Нам отрезали руки-ноги, а потом разрешили разгуливать где угодно. Я ненавижу нашу эпоху, когда человек под гнетом всеобщего тоталитаризма превращается в ласковое, послушное и кроткое животное. Нас уверяют, что это и есть моральный прогресс!.. Я ненавижу нацизм за то, что он по самой своей природе тоталитарен. Рурских рабочих проводят мимо полотен Ван Гога, Сезанна и лубочных картинок. Рабочие, разумеется, голосуют за лубочные картинки. Вот она, народная правда! Кандидатов в Сезанны и Ван Гоги, словом, всех нонконформистов, надежно упрятывают в концентрационный лагерь, а покорную скотинку кормят лубочными картинками. Но куда в нашу эпоху всеобщей бюрократизации идут Соединенные Штаты, куда идем мы? Человек-робот, человек-термит: сначала работа у конвейера по

системе Бедо, потом игра в белот. Человек, из которого выхолощена всякая способность к творчеству, который в своей деревенской глуши не в силах создать ни единой песни, ни единого танца. Человек, которого под видом культуры пичкают стандартной продукцией серийного производства, словно вола сеном. Вот это и есть нынешний человек.

А я думаю, что каких-нибудь триста лет назад люди писали Принцессу Клевскую[149], на всю жизнь уходили в монастырь от несчастной любви – так они умели любить. Разумеется, в наше время иные кончают самоубийством, но их страдание сродни невыносимой зубной боли, от которой лезут на стену. С любовью оно ничего общего не имеет.

Конечно, сейчас мы еще на первом этапе. Для меня нестерпима мысль, что целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха[150]. Угроза нависла над самим существованием. Но когда оно будет спасено, перед нами встанет основной вопрос нашего времени. Вопрос о назначении человека. Никаким готовым ответом мы не располагаем, и мне кажется, что мы движемся навстречу самым беспросветным временам истории.

Мне безразлично, убьют меня на войне или нет. Что уцелеет из того, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и невосстановимые оттенки, и некий духовный свет. И завтрак под оливами на провансальской ферме, и Генделя. Мне наплевать на вещи, которые уцелеют. Для меня важен только определенный порядок их расположения. Цивилизация – это невидимая связь между вещами, потому что она распространяется не столько на сами вещи, сколько на невидимые отношения, существующие между ними. Такие, а не другие. В результате массового производства мы можем получить сколько угодно превосходных музыкальных инструментов, но где взять музыкантов?

Плевать мне, если меня убьют на войне или на меня обрушится ярость этих летучих торпед, не имеющих уже никакого отношения к настоящему полету, этих махин, чьи кнопки да циферблаты превращают летчика в какого-то бухгалтера. (А ведь полет – это тоже своего рода связи.) Но если я вернусь живым с грязной, но необходимой работы, передо мной встанет только один вопрос: что можно и что должно сказать людям?

Я все меньше и меньше понимаю, зачем рассказываю вам все это. Разумеется, только затем, чтобы с кем-нибудь поделиться, ведь вообще говоря, об этом я не вправе говорить. Нужно беречь покой окружающих, а не наводить тень на ясный день. Быть бухгалтерами за штурвалами наших боевых самолетов – вот

лучшее, на что мы сегодня способны.

Пока я писал, оба моих товарища по комнате уже уснули. Надо и мне ложиться: боюсь, свет им мешает (как мне не хватает своего собственного угла!). Эти мои товарищи – в своем роде прекрасные люди. Прямые, благородные, чистые, верные. И я сам не понимаю, почему, глядя на них, спящих, испытываю какую-то бессильную жалость. Они не ведают о снедающем их беспокойстве, а я-то его хорошо чувствую. Да, прямые, благородные, чистые, верные. Но и невообразимо обездоленные. Им так нужен какой-нибудь бог.

Милый генерал, простите меня, если скверная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала также и вашему сну. И верьте в мою дружбу.

Сент-Экзюпери

Письмо генералу Шамбу
[Алжир, 3 июля 1943 г.]

Дорогой генерал!

Я получил Военного летчика; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр[151]. Не знаю, в результате каких размышлений возникло у вас желание прочесть эту книгу, не знаю, изменил ли свое мнение о ней тот офицер, что так энергично нападал на меня во время завтрака и так мне понравился. Я был поражен не столько его враждебностью, сколько тем, что он говорил искренне, и мне очень хотелось., чтобы он прочел эту книжку.

Поскольку вы не передаете мне его мнения, я заключаю, что он меня не понял. Мне кажется очень странным, что атмосфера полемики может исказить столь простой текст даже в глазах столь прямодушного человека. Мне совершенно безразлично., что там лепечут алжирские тыловики, разоблачая мои тайные умыслы. То, что они мне приписывают, так же похоже на меня, как я на Грету Гарбо[152]. Мне в высшей степени наплевать на их, даже если оно приведет к запрету на мою книгу в Северной Африке. Я не книготорговец. А вот то, как извращает мои мысли ваш Друг, для меня, как ни странно, нестерпимо. Потому, наверное, что я его уважаю. Я ведь обращался к нему и к таким, как он, а не к политикам. Почему же мои несколько страничек предстали перед ним в ложном свете, почему он принял их за политическую программу? Вообразите, что я Монтень и опубликовал в одной из алжирских газет свои Опыты, а все точно сговорились трактовать их с точки зрения перемирия. Какие только макиавеллиевские уловки не обнаружатся в моем

произведении!

Да, я говорил об ответственности. Но, черт побери, у меня же все ясно сказано! Я ни одной строчки не написал в защиту чудовищного тезиса о том, что ответственность за поражение ложится на Францию. Я недвусмысленно сказал американцам:

Ответственность за поражение лежит на вас. Нас было сорок миллионов крестьян против восьмидесяти миллионов обитателей промышленной страны. Один человек против двух, один станок против пяти. Даже если какому-нибудь Даладье удалось бы обратить весь французский народ в рабство, он все равно не в силах был бы вытянуть из каждого по сто часов работы в день. В сутках только двадцать четыре часа. Как бы ни управляли Францией, гонка вооружений все равно должна была бы развиваться из расчета один человек против двух и одна пушка против пяти. Мы согласились воевать из расчета один к двум, мы готовы были идти на смерть. Но чтобы умереть с пользой, нам нужно было получить от вас недостающие четыре танка, четыре пушки, четыре самолета. Вы хотели, чтобы мы спасли вас от нацистской угрозы, а сами производили исключительно «Паккарды»[153] да холодильники для своих уик-эндов. Вот единственная причина нашего поражения. И все-таки наше поражение спасет мир. Разгром, на который мы сознательно шли, станет отправной точкой сопротивления нацизму. Я говорил им (они тогда еще не вступили в войну): «Настанет день, когда из нашей жертвы, как из семени, вырастет дерево Сопротивления!» Возьмем этот первый кусок книги: в чем, черт бы меня побрал, мнения вашего друга расходятся с моими? Чудо, что американцы прочли эту книгу, и что она стала у них бестселлером. Чудо, что за ней последовали сотни статей, в которых сами американцы говорили: Сент-Экс прав, не нам винить Францию. На нас лежит часть ответственности за ее поражение. Если бы французы, живущие в Соединенных Штатах, больше ко мне прислушивались, а не спешили бы объяснять все гнилостью Франции, наши отношения с Соединенными Штатами были бы сейчас совсем другими. И в этом меня никто никогда не разубедит.

Но есть в моей книжице второй, главный кусок, и там я действительно говорю: мы ответственны. Но речь идет вовсе не о поражении. Речь идет о самом явлении фашизма или нацизма. Я говорю (что тут может быть непонятного? Я так старался выражаться яснее!), итак, я говорю: западная христианская цивилизация ответственна за нависшую над ней угрозу. Что она сделала за последние восемьдесят лет, чтобы оживить в человеческом сердце свои ценности? В качестве новой этики было предложено: «Обогащайтесь!» Гизо[154] да американский комфорт.

Чем было восхищаться молодому человеку после 1918 года? Мое поколение играло на бирже, спорило в барах о достоинствах автомобильных моторов и кузовов или занималось пакостной спекуляцией остатками военных запасов. Вместо опыта монашеского самоотречения, вроде того, к которому я приобщался на авиалиниях, где человек вырастал, потому что к нему предъявлялись огромные требования, сколько людей увязало в трясине перно и игры в белот или – смотря по тому, к какому слою общества они относились, – коктейлей и бриджа! В двадцать лет меня тошнило от пьес г-на Бернстейна[155] (этого великого патриота) и от пошлости г-на Луи Вернейля. Но больше всего – от всяческого изоляционизма. Каждый за себя! Планету людей я писал самозабвенно, я хотел сказать своему поколению: вы все обитатели одной и той же планеты, пассажиры одного и того же корабля! Но эти жирные прелаты, которые, между прочим, превратились сейчас в коллаборационистов, эти чиновники Государственного совета – разве они годились в хранители христианской цивилизации с ее культом вселенского? Вы томились жаждой жажды, и ничто на континенте не утоляло ее. Как, по-вашему, не потому ли я проникся к вам такой пылкой дружбой, что признал в вас человека той же породы, что и я? Я умирал от жажды. И – вот оно, чудо! – утолить эту жажду можно было только в пустыне. Или превозмогая ночь в нелегкие часы на авиалинии. Мне, как и вам, невыносимо было читать «Канар аншене» и «Пари-суар». Я терпеть не мог Луи Вернейля. Почему ваша книжка[156] показалась мне такой близкой? Мне нужен был именно этот звук. Я люблю тех, кто дает мне утолить жажду. Меня тошнит от того, во что превратили человека Луи Филипп[157], и г-н Гизо, и г-н Гувер[158]. Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров[159], кто в этом виноват в первую очередь? Вечная история оседлых и кочевых племен. Спасение цивилизации – дело постоянное. В хорошо вам знакомом Парагвае девственные леса проглядывают в каждой щелочке между булыжниками, которыми вымощена столица. Они, эти леса, притворяются простыми травинками, но дай им волю – и они пожрут город. Нужно постоянно загонять девственные леса обратно под землю.

Что же в предвоенной этике могло заслужить одобрение вашего друга, которого, как мне кажется, я немного знаю? А если он, как мы, чувствовал, что умирает от жажды, тогда какого дьявола он негодует, что я упрекаю эту эпоху в духовном убожестве? Почему он вкладывает в мою книгу превратный смысл, которого я вовсе не имел в виду? Когда я пишу, что каждый отвечает за все, то продолжаю тем самым великую

традицию блаженного Августина[160]. Равно как и ваш Друг, когда он воюет. Через него в войне участвует и бретонская крестьянка, и сельский почтальон из Монтобана[161]. Если страна – живое существо, то он кулак этого существа. Его руками сражается и сельский почтальон. А он руками этого почтальона служит обществу по-другому. Нельзя делить живое существо.

Какое отношение имеет тема, которую я исследовал, к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма[162]? Какая строчка в моей книге дает вашему Другу право думать, что слова «я ответствен» имеют малейшее отношение к униженному mea culpa[163]? Слова эти – девиз каждого гордого человека. Это вера в действии. Более того, это доказательство собственного существования. Пускай себе конторские мокрицы ищут в моей книге политическую подоплеку, я над этим разве что снисходительно усмехнусь: хоть мне уже сорок четыре, я каждую неделю, как-никак, вылетал на задания во Францию, один на борту «Лайтнинга» П-38, в составе группы 2/33, а неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей![164] Плевать мне на них. Но вашему другу, такому благородному, я решительно отказываю в праве на подобную интерпретацию. Я пишу для него. Я пишу о нем. И если сегодня совсем невозможно быть правильно понятым даже чистыми душами, пусть меня перечитают через десять лет.

Письмо Х. (неотправленное)

Умирают не за идеи
Умирают за суть
Умирают за Бытие

Дорогой Х.!

Ты вновь заставил меня пережить мою старую драму и вверг меня в самое безысходное отчаяние. Ты достаточно меня знаешь (ты вообще единственный, кто меня знает, не то, что эта болтающая обо мне стая крабов), чтобы представить себе, что эти два года я прожил не в безмятежном покое, на который ты намекаешь в полемическом запале, а раздираемый такими внутренними противоречиями, какие не дай бог тебе испытать. Я не эксгибиционист и почти никому их не поверял. Мое молчание, в самом деле, могло обмануть стороннего наблюдателя.

Каждый из нас таков, каков он есть. Некоторые обретают полное душевное равновесие, стоит им примкнуть к какому-нибудь делу. Им тут же все становится ясно. Я и сам наслаждался

безмятежным счастьем, летая маршрутами компании Аэропосталь, пока твой Друг Серр[165], видя, что его благие намерения терпят крах, не избавил дело от духа жертвенности; я был счастлив в тридцать девятом и сороковом, выполняя военные задания, как обычную работу; и совсем еще недавно – на борту «Лайтнингов» П-38[166]. Мне наплевать на собственную шкуру, и в духовном смысле мне лучше всего подходит тот климат, в котором я ею рискую.

Вернее было бы сказать, не в духовном смысле, а в эмоциональном. Потому что это именно тот случай, когда духовное во мне спорит с эмоциональным. Иначе я стал бы анархистом. Ту же атмосферу, что царила в экипажах компании Аэропосталь, я встретил у барселонских анархистов во время войны в Испании. То же самопожертвование, ту же готовность к риску, ту же взаимопомощь. Тот же высокий образ человека. Они могли мне сказать: Ты думаешь так же, как мы, но, когда они спрашивали: Почему же тогда ты не с нами? – я не знал, как им ответить, чтобы они поняли. Они ведь жили чувствами, а в плане чувств мне нечего было им возразить. Точно так же мне нечего возразить коммунистам, и Мермозу, и любому из тех, кто готов пожертвовать собственной шкурой и предпочитает делить кусок хлеба с товарищами, чем пользоваться всеми благами жизни. Однако, при всем том, что я верю в человека, рожденного коммунизмом, все же я не в силах верить, что предтеча его – каталонский анархист. Величие анархиста в том, что он потерпел поражение. Если он восторжествует, из его суповой миски вырвется на волю лишь призрак тщеславия, который мне неинтересен (и я готов объяснить почему). Так неужели ради того, чтобы испробовать одурманивающее действие чувства, как пробуют наркотик, я добровольно разрушу свою духовную цель? Это было бы подло. Духовное начало должно возобладать над доводами чувства. Проще говоря, ты следуешь этой точке зрения, когда наказываешь собственного сына…

Тебе эта проблема представляется простой, потому что для тебя она сводится исключительно к сфере чувства. Я люблю, потому что люблю, и ненавижу, потому что ненавижу. Этого достаточно. Для такого, как я, все решается гораздо сложней. Я знаю, что во Франции ты рисковал головой, участвуя в Сопротивлении. Это был твой долг. И я поступил бы так же. Но за границей я почувствовал, как на меня, помимо моего желания, легло чудовищное бремя ответственности. Чудовищное не с точки зрения своей силы – я был всего лишь каплей в море, – а с точки зрения цели. И без всякого риска для меня. (Точнее, без такого риска, о котором стоило бы говорить. Я-то смеюсь над риском. Не

признаю добровольного риска, на который идут, чтобы отпустить себе грехи. Моя награда в том, что я знаю: бывает смелость, куда более достойная восхищения, чем смелость перед лицом смерти. Страх смерти легко превозмочь. Особенно сгоряча.)

Лично я был против перемирия[167]. Я угнал из Бордо самолет. Набил в него четыре десятка молодых летчиков, которых навербовал прямо на улице (у меня был четырех моторный Фарман), и увез их в Северную Африку продолжать борьбу. Ладно. Попытка не удалась. В Северной Африке тоже признали перемирие. Поэтому я превратился в безработного.

Но с этой минуты у меня появилась возможность действовать словом.

Я в меру своих скромных сил отчасти принял на себя ответственность за будущее французского народа. Историю нельзя пересочинить. Ты можешь внести в анналы реальные бедствия прошлого, но не можешь ни доказать, ни опровергнуть реальность тех предполагаемых бедствий и успехов, которые ждали бы нас при вымышленном ходе событий. Однако тот, у кого была возможность в меру своих слабых сил содействовать нарушению или соблюдению условий перемирия (в конце концов, все сводилось именно к этому), не мог не предвидеть серьезных последствий своего решения.

1. С 1940 года всех взрослых мужчин на территории Франции, подлежащих призыву в армию, отправляли на верную смерть в немецкие лагеря. В законном порядке. Шесть миллионов пленных вместо двух.

2. Северная Африка была блокирована Германией. Мне хорошо известно, что официальная точка зрения обязывает нас отрицать этот факт. (Утверждают даже, что Германия, истощенная военными действиями во Франции, была неспособна на новый рывок!) Я думаю, что Германия, еще не поколебленная в то время (ведь ее сила не была подорвана ни американским превосходством в оружии, ни грозной мощью русских, ни десятью миллионами убитых немецких солдат), была в состоянии за две недели захватить Северную Африку через Испанию или Сицилию (Франко не стал бы противиться). А здесь были двести тысяч безоружных людей. Даже если предположить, что масса современных танков, самолетов и автоматов, обращенных против простых винтовок, не влияет на соотношение потерь с обеих сторон, то и в этом случае достаточно было бы Германии пожертвовать ста девяноста девятью тысячами девятьюстами девяноста девятью своими солдатами, которых бы убили или взяли в плен, чтобы против нее остался всего один солдат. Скорее всего, это оказался бы даже генерал. Притом безоружный. (А я

еще не беру в расчет арабскую проблему[168].)

3. Немецкий шантаж был всеобъемлющ. Жить ли городам – это зависело исключительно от того, будут ли железнодорожные вагоны. А вагоны – от смазки для букс. А смазка – от нефти из Гамбурга или Румынии. Наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали[169]. День за днем.

4. Нельзя забывать, что в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры[170]. Насколько мне известно, в «Майн кампф» угроз по адресу французов ничуть не меньше, чем по адресу поляков.

5. В то время как Бельгия уже предоставила Германии два миллиона рабочих, Франция экспортировала еще не более ст… двадцати тысяч. Эти два миллиона дополнительных узников можно было бы уже тогда добавить к двум миллионам военнопленных.

6. А угроза депортации населения?

7. А проблема евреев? Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил[171]. А все-таки он был для тебя мощным заслоном. Двести тысяч евреев из неоккупированной зоны ни за что не уцелели бы при нацистах, с которых тогда еще никто не успел сбить спесь. Что ни говори, а Леон Верт жил, передвигался, писал.

8. А проблема американского присутствия? (Я к ней еще вернусь.)

Режим Виши был, разумеется, омерзителен. Но всякому организму необходимо отверстие для выделения экскрементов. Канализационные рабочие, как правило, равнодушны к тонким ароматам. Тюремщики редко бывают столь же отзывчивы, как сестры милосердия. Разумеется, того, кто клянчит у победителя смазку для букс, не должно, образно выражаясь, мутить от навоза. Ведь навоз – это просто отправления организма. (Что до полиции, то она, разумеется, как и все полиции нашего времени, отличается подлостью.)

Во Франции я бы, возможно, поставил перед собой задачу убить Пюше[172]. В Штатах передо мной стояла другая задача.

Когда накануне перемирия я покидал Францию, кругом было невесело. Помню езду в машине, ночь, дождь. Темно – хоть глаз выколи. Я включил фары. На дороге был затор, – остановился, и тут внезапно вокруг меня вспыхнул сущий бунт. Солдаты осаждали мою машину, грозя мне расправой. За что? Дело было в фарах. В этом месиве дождя и грязи, под потолком облаков в сто двадцать метров вышиной я, видите ли, навлекал на них небесный гнев гитлеровских бомбардировщиков. Один из этих героев навел на меня свой электрический фонарь, и в течение

десяти секунд они кляли на чем свет стоит мои нашивки. Я олицетворял войну торговцев пушками и капиталистов. Меня охватило безграничное отвращение, и я почти желал, чтобы эти сволочи меня растерзали. Ты только представь себе: грубые голоса, похабная ругань, причем от всех так и разило страхом. Я чувствовал, как страх продирает их до самого нутра. Лица, голоса, позы – все было мерзко. Я испытывал неописуемый стыд.

Ну, а гражданские! Во время отступления мы квартировал., поочередно, в одиннадцати деревнях. Хорошенький же прием устраивали нам, умиравшим за них! Ни единого слова о сопротивлении! Ни единого свежего веяния! Вьючные животные, одуревшие и забитые! Всеобщий эгоизм. Разрыв всех уз.

Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростной, ненавидящей власть, обрекшую ее на позор перемирия… Ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения.

Разумеется, было множество всяких исключений из правила. Во-первых, мы! Мы барахтались в этом дерьме, а в промежутках отправлялись на боевые задания и без колебаний шли на смерть. Были, конечно, и Мандель[173], и какие-то крестьяне, и какие-то солдаты, но, в конечном счете, перемирие было заключено не правительством, а Францией[174]. Это бросалось в глаза. И пошла на это перемирие не только Франция капитала и военщины. Не Жан Пруво[175], не Петен. Вся Франция целиком. И они вместе с ней. Я-то был против, но, в утешение, говорил себе: эта огромная волна страха, эта капитуляция, быть может, тоже объяснима. Моя ошибка в том, что я рассматривал происходящее в упор, во всем его безобразии. Если смотреть в упор, все кажется безобразным: если разглядывать любимую женщину в микроскоп, увидишь сплошные бугорки да пятна. Малые отрезки времени тоже обезображивают. Что нам даст моментальная фотография Пастера, который сморкается или делает еще что-нибудь в том же роде? Это не показательно. Человека и народ следует изучать с некоторого расстояния. В пространстве; во времени. Когда наблюдаешь человека вблизи видишь внутренности. Когда наблюдаешь его несколько мгновений – видишь функции этих внутренностей. Все это не выражает бытия. Но игра была нечестная. Мы воевали без оружия. Наше дело было гиблое. Мы потеряли бы два миллиона человек ради того, чтобы задержать наступление немцев на двадцать часов. Сама человеческая сущность возмущается против такого бессмысленного кровопролития. Два миллиона убитых. Шесть миллионов пленных. Три-четыре миллиона депортированных, и в

довершение – призрак депортации всего населения (…). А в результате – женщины, дети и старики, клянчащие у завоевателей смазку для железнодорожных вагонов ради того, чтобы выжить, что, впрочем, почти невероятно… Ты сам рассказывал мне, как это было в России. Вот уже сколько времени ее народ, видя, как поднимается волна немецкого нашествия, призывает все страны солидаризироваться с ним или помочь ему поставить заслон этой волне, и вот уже сколько времени на русских продолжают смотреть как на возмутителей мирового порядка и предоставляют им в одиночку воевать против пикирующих бомбардировщиков и танков. Кому русские этим обязаны? Во имя какого божества, которое даже ни малейшей пользы от этого не получит, нужно толкать лучшую часть народа в бездну, откуда нет возврата?

Что до меня лично, у меня одно дело – настаивать на продолжении борьбы. Точно так же в 1918 году Германия спаслась от оккупации благодаря перемирию, которое, конечно, несколько лет разлагало народ, оказавшийся под властью штреземановских педерастов[176], но потом способствовало созданию условий, сперва, конечно, незримых – для подъема страны, ее усиления, ее гордыни; но когда Германия подписала перемирие, то, разумеется, делом и даже духовным долгом немецкого Деруледа[177] было возмущаться таким позором. Германия сдалась раньше, чем была окончательно истощена. Германия сдалась перед самой своей гибелью. Но погибла ли при этом глубинная совесть нации, отказавшейся продолжать борьбу с той самой минуты, как над лучшей частью народа нависла угроза неизбежной и бессмысленной гибели? Разве у нас не писали об этом преждевременном перемирии, которое спасло Германию? Разумеется, внешне это выразилось в отказе от борьбы, в жажде благ, зачастую презренных (перемирие было для немцев большим праздником, чем для нас!), и в анархии. И в эгоизме. И в угодничанье перед победителем (большем, чем у нас!). Разумеется, в нашем перемирии много безобразного, и оно вызывает к жизни немало безобразий. (…) Тот, кто погибает, храбрее того, кто капитулирует. Победа или смерть – великие слова. Но (…) здесь мы впадаем в антропоморфизм. Ведь то, что годится для отдельной личности, теряет смысл на уровне народа. Точно так же, что справедливо для одной клетки, не годится для целого организма. Когда человек ищет смерти на баррикадах, это прекрасно. Тут речь идет о самопожертвовании. Но самоубийство народа – где тут величие? Ты сам не желал бы этого. Ты осудишь человека, который из страха смерти пойдет, так или иначе, служить врагу. Но не будешь же ты упрекать все рабочее население Бийанкура за то, что сотни тысяч людей не покончили

с собой все разом, лишь бы не работать на оккупантов. Ты даже признаешь этих людей самоотверженными, потому что они потребуют, чтобы британские самолеты бомбили заводы Рено. И при этом они будут продолжать работу на оккупантов. Здесь нет никакого противоречия. Пускай единицы гибнут во имя общего блага. Это их долг. Но всеобщее самоубийство бессмыслица. Если ты избран Францией, ты погибнешь во имя спасения Франции. Ты умрешь, чтобы спасти то, что больше, чем ты сам. Но ты не убьешь то, что больше, чем ты сам, и что ты обожествил, чтобы спасти. Если бы рабочее население Бийанкура все разом сделало себе харакири, оно бы не знало, во имя чего идет на эту жертву. И оно от этой жертвы отказалось. Оно работает на заводах и при этом желает, чтобы их разбомбили, пусть даже людей ждет гибель. Потому что в этом случае те, что погибнут, погибнут ради других.

Это настолько очевидно, что нью-йоркским спорщикам[178] пришлось поломать себе голову, во имя чего следует принести Францию в жертву. Причем речь шла не о согласии Франции пойти на частичные жертвы, а о полном и безусловном уничтожении Франции. Ею следовало пожертвовать во имя еще большей общности, во имя союзников. Фогель[179] заявил: «Лучше гибель всех французских детей, чем разгром Англии». Одна бездетная дура сказала мне: «Если бы мои дети были во Франции и я знала, что они умирают с голоду, я гордилась бы этим». Но если гибнут дети, значит, гибнет и Франция. Во имя чего? Во имя других. Но это отчужденный взгляд эмигранта. Эти слова так же легко срываются с языка, как «передайте мне горчицу» или «сегодня жарко». На самом-то деле союзники – понятие временное. В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан[180]. (…) Народ думает медленнее, основательнее. Новое божество не было для него чем-то осязаемым, что могло бы подвигнуть на жертву. Спасать надо было Францию, уже разрушенную, которой из-за ваших раздоров грозило полное уничтожение. Даже это нелегко было постигнуть. А уж еще более широкое понятие союзники вообще не укладывалось в голове.

Моя главная мысль, которая для меня важнее всех состязаний в красноречии, заключается в том, что народ – это не французская палата депутатов, не американский сенат, не фашистский совет; народ ценен тем, что в нем лучшего. Народ – это Трефуэль[181], это Паскаль, это Давид Вейль[182], это безмолвная мать у постели больного ребенка, это взаимовыручка и самопожертвование бастующих рабочих, это доброта, которая не поддается доводам рассудка, подчиняет себе доводы рассудка и переживает любые

политические перетасовки, как мощный дуб переживает смену времен года. Наследство передается не по формуляру политика.

Политика не требует жертв. Жертвы требуются только самому бытию народа и лучшему, что есть в народе, либо тому, что связано с этим лучшим. Я пожертвую собой ради свободы моих братьев. Я пожертвую собой ради отдельного человека, ради свободы Греции или Италии. Но я не пожертвую ради этого своим народом. Потому что все мы – борцы за нечто высшее. Если понадобится, я пожертвую своим народом во имя возвышения человека. Но и тогда о достоинстве человека я стану судить не по политическому формуляру, а единственно по его сути. Крестовый поход, (обескровливающий) народ, может быть посвящен только богу. (…)

Настало время честных раздумий, время наполнить смыслом слова, потерявшие всякую рыночную стоимость, потому что перед нами встают новые проблемы, запутанные и противоречивые. В том числе проблема чести и бесчестья. (…)

Письмо Х.
[Алжир, конец 1943 г., середина ноября?]

I

(…) Я в постели, в неподвижности…[183] Лестница, ведущая в прихожую. Шесть мраморных ступенек, полное затемнение. Так вот. Я весьма бодро иду на обед, во время которого должен увидеться со Шнейдером[184] и друзьями. Забываю про дыру. Проваливаюсь, лечу в пустоте. Недолго. И со всей высоты собственного роста (и лестницы) грохаюсь прямо на спину. Копчиком о край одной ступеньки, пятым поясничным позвонком – о край другой. Чтобы погасить инерцию моего тела, двух точек, да еще таких угловатых, явно недостаточно. Копчик-то выдержал. А вот позвонок – нет.

По позвоночнику удар, само собой, передался черепу, и пять минут я провалялся на лестнице почти без сознания. Затем принялся ставить сам себе диагноз. Я сказал себе: такого удара ни один позвоночник не выдержит. Он сломан. Тут я проверил собственные ноги: они двигались. Значит, решил я, сломан позвонок, который не содержит спинного мозга, следовательно, несъедобный. Так оно и оказалось. Я, все же, не дурак. В пятом поясничном спинного мозга нет.

Затем я стал подниматься. Мне удалось встать на ноги. Крошечными шажками я добрался до трамвая и явился к обеду. Мне было очень больно, и это подтверждало мои догадки. Я сказал: «Прошу прощения, что опоздал, но я только что сломал себе позвонок». Все расхохотались. Я тоже. О моем позвонке так никто и не спросил.

Вернувшись домой, я подсунул под дверь Пелисье записку:

«Я сломал себе позвонок у вас на лестнице, когда шел обедать. Будьте добры, осмотрите меня завтра утром».

Ночь я провел мерзко, от удара у меня голова шла кругом. Заснул около восьми. А он прочел мою записку и ушел себе в госпиталь. Ему было некогда. Так сказала Северина.

Я оказался в тупике. Я был приглашен на один более или менее официальный завтрак и оправдаться мог только серьезным диагнозом. И все-таки я пошел на этот завтрак, очень, очень медленно. На обратном пути, часа в четыре, мне стало совсем уж худо. Тогда я через Северину воззвал к Пелисье с просьбой о консультации (он был у себя в кабинете). Он пощупал мой позвонок и сказал что-то вроде:

– Вы же видите, он не смещается.

Я ответил:

– И все-таки он сломан! – Он рассмеялся.

Я понимал, что из-за всей этой истории с позвонком попал в дурацкое положение. И смиренно спросил:

– Но что же делать, ведь мне больно?

Он очень, очень понятно разъяснил мне причину моих болей и посоветовал заняться гимнастикой. Чтобы окончательно рассеять мои сомнения, он прибавил, что перевидал уйму людей, которые попадали в катастрофы, даже под колеса поезда, и не ломали себе при этом ни единого позвонка. Господи, боже мой, поезд – он такой большой. И тяжелый. И едет быстро. Рядом с ним мои шесть ступенек детские игрушки.

Тогда я отправился на другой обед. Еще медленней. Я превозмогал боль. Я уговаривал себя, что ходьба – прекрасная гимнастика, но в глубине души не очень-то в это верил.

На другой день Советы давали большой прием[185]. Мне очень хотелось посмотреть, как все будет. Я был приглашен. И я пошел.

Праздник был устроен на покрытой цветами лужайке перед каким-то дворцом. В высшей степени элегантно. Но ничего, кроме оранжада.

По лужайке бродили все министры, все генералы и все христиане Алжира. Ждали львов. Все спрашивали: «Где же они?» Львы были тут же, но внешне походили на банкиров. И потчевали всех оранжадом. Это подействовало на христиан весьма успокоительно.

Но со мной на этой лужайке, где не было ни единого стула, приключилось несчастье: я стоял и не мог сделать ни единого шага. Когда мимо проходил кто-нибудь знакомый, я обращался к нему: «Вы на машине? Нет? Тогда хотя бы побудьте со мной пять минут! А то я торчу тут один и выгляжу дурак дураком». Между прочим, так оно и было.

Но я был начеку и каждый раз, когда мне удавалось обмануть боль, делал шажок по направлению к выходу. Путь грозил затянуться, но тут, наконец, появился адмирал Обуано[186] и помог мне репатриироваться.

Потом, когда я принялся докучать Пелисье рассказами о своем несчастье, он сказал:

– Да, ушибы бывают очень болезненные! Ну, ладно. Раз уж вам необходимо, чтобы вас успокоили, сходите к такому-то рентгенологу, он прекрасный специалист.

Мне и впрямь надо было, чтобы меня успокоили. Рентгенолог взглянул на снимок и сказал:

– Да вы с ума сошли! Почему вы не в постели? У вас поперечный перелом пятого поясничного позвонка: легкое вертикальное смещение и трещина в кости. К тому же весь

позвонок на несколько миллиметров смещен влево!

– Вот как!

– Перелом позвонка – дело серьезное! Три месяца постельного режима, иначе останетесь калекой на всю жизнь.

– Вот как!

– Черт побери, вы что, сами не чувствуете, что у вас сломан позвонок?

– Еще как чувствую!

С этим я вернулся к Пелисье. По дороге я сам себе представлялся чем-то вроде треснувшей вазы. Я ступал с немыслимыми предосторожностями. Я объявил доктору Пелисье:

– У меня перелом, завтра будут снимки.

– Перелом? Откуда вы знаете?

– Врач сказал.

– Болван ваш врач. Вечно эти рентгенологи вмешиваются в диагностирование! Пускай занимаются рентгеном, остальное – не их забота.

– Кушать подано! – Это пришла Северина.

– Где… я буду… завтракать?

Я уже свыкся с представлениями о треснувшей вазе, и мне хотелось прилечь, чтобы не разлететься на куски. Кроме того, мне было больно.

Но я тут же понял, что Северина старенькая, а рентгенолог болван. И взгромоздился на стул.

Наутро были готовы снимки. В течение пяти минут Пелисье видел, что это перелом, а потом опомнился.

– Это у вас врожденное.

– Но почему?

– Потому.

– Вот как.

Я чувствовал, что со всеми своими предосторожностями выгляжу посмешищем. А между тем мне делалось все больнее и больнее.

– И все-таки… Я так сильно ударился… Это его возмутило. Он ведь объяснял мне насчет поезда, а я ничего не понял.

– Да я видел людей, которые падали с шестого этажа – и ни единой царапины!

Ну что ж. Я попросил одного знакомого зайти к рентгенологу. Рентгенолог считает, что случай ясный. У меня боли – это тоже ясно. В конце концов, в этом позвонке нет спинного мозга. Ну да ладно, как-нибудь все утрясется. Или растрясется.

II

Продолжаю письмо. Акт второй. Поскольку я не мог передвигаться, пришлось подключить военных врачей[187].

Они пришли. Посмотрели снимки. Сказали, что это перелом. Из чистой вежливости я попросил Пелисье зайти с ними поздороваться. Он им сказал:

– Этот рентгенолог – зазнайка и невежда, сделайте больному рентген еще раз у себя в госпитале.

Он любезно отвез меня в госпиталь и сказал военному рентгенологу, конкуренту предыдущего, штатского:

– Доктор Б. большой чудак. Перелом выглядел бы так-то и так-то.

Новый рентгенолог сделал снимки. Они вышли неудачно. Он сделал повторные. Получилось уже лучше. Точь-в-точь утренние туманы на японском пейзаже. Очень было красиво. Сквозь утренние туманы виднелось нечто похожее не то на холм, не то на позвонок. Рентгенолог-конкурент вздохнул. Потом изрек:

– Я не согласен с мнением доктора Б. Потом он стал придумывать, в чем именно он не согласен. И придумал. Ткнув на заострение, которое вчера было объявлено врожденным, он сказал:

– Это просто-напросто проекция крестцовой кости.

– Не правда ли? – откликнулся Пелисье. Поскольку переломом это быть не могло, необходимо было как-нибудь это обозвать. Пусть будет врожденная проекция. Дома Пелисье сказал:

– Вы же слышали, я его за язык не тянул.

– Разумеется.

Итак, военные врачи тоже не пожелали признать у меня перелом. Тогда я стал ходить на прогулки, чтобы поскорей выздороветь. Однако до сих пор еще не выздоровел.

III

Сегодня уже прошла неделя. Мне не лучше и не хуже. Но Пелисье уверяет, что ушибы не проходят по три месяца, так что боль – в порядке вещей. Как бы то ни было, я изрядно устал.

Поскольку Пелисье думает, что я до сих пор сомневаюсь, он притащил мне сегодня рентгеновский снимок настоящего перелома. Бесспорного перелома.

– Вот как выглядит перелом.

Правда, я мог бы и сам поставить диагноз. Вместо позвонка какая-то блямба, а вокруг ореол осколков, каждый размером с зуб. Я сказал:

– Да, явный перелом.

И при этом подумал: поезд тут ни при чем, шестиэтажный дом тоже, следовательно, виновата торпеда. Судя по причиненным повреждениям, все это натворила именно торпеда.

Потом я робко осведомился:

– Это все, что осталось от того господина?

– Что это?

– Этот позвонок?

Тогда он отнял у меня снимок.

Теперь я в сомнениях. Мой рогатый позвонок, по всей видимости, не ядовит. Но на душе у меня скверно, потому что он, как это ни странно, продолжает болеть. Я предпочел бы знать, в чем тут дело, и пусть бы уж это оказался простой костный перелом. Мне как-то неловко, что я продолжаю ходить. Но раз у меня ничего не находят, то оставаться в постели было бы еще более неловко. Что же дальше?

Да… Что же дальше-то? Хотелось бы, наконец, обрести хоть какую-то судьбу. А то я словно в поезде, который застрял перед семафором. Не воюю и не делаю свою собственную работу, не здоров и не болен, не понят и не расстрелян, не блаженствую и не страдаю. И вконец утратил всякую надежду.

Странная штука безнадежность.

Чувствую, что мне нужно родиться заново. Я понял, что радовался бы, если бы меня заставили годами лежать врастяжку привязанным к доске. Это была бы судьба духа. Точно так же я радовался бы, если бы меня опять пустили за штурвал Лайтнинга и позволили воевать дальше: это была бы судьба солдата. Или влюбиться бы мне безнадежно: был бы рад и этому. Лишь бы навсегда. Это была бы судьба сердца.

Безнадежно влюбиться – не значит потерять надежду. Это значит, что соединишься с любимой лишь в бесконечности. А по пути – негаснущая звезда. И можно отдавать, отдавать, отдавать. Как странно, что я не могу обрести веру. Можно безнадежно любить бога: это как раз по мне. Солем и григорианский псалом.

Церковное пение – совсем не то, что мирское. В нем есть что-то морское. Я часто об этом думал. В сороковом году, перед отъездом из Лиона, я как-то в воскресенье пошел в Фурвьер, поднялся на холм. Шла (вечерня?). Было холодно. В церкви безлюдно, один только хор. И я, в самом деле, почувствовал, что я внутри корабля.

Хор – это был экипаж, а я – пассажир. Да, прячущийся ото всех пассажир-заяц. Мне казалось, что я прокрался туда незаконно, обманом. И право же, я был восхищен.

Восхищен чем-то несомненным, чего мне никогда не удается удержать.

Мне бесконечно жаль людей: пока они спят, они все пропускают. Я только не знаю что. (…)

Почему мне так нехорошо? Вы не представляете себе, до чего мне страшно. О, я вовсе не позвонок имею в виду. Он мне, в сущности, даже полезен. (…) Встряска была великолепная (для головы тоже) и… у меня немного прояснились мысли. Занятно. Нервы тоже пришли в порядок. Я был как-то весь напряжен, так напряжен – физически не мог написать больше двух страниц. У меня руку сводило. Меня в буквальном смысле невозможно было читать. (…) А мои письма двух последних месяцев! На второй же странице почерк совершенно менялся. (…) И вот встряска все это сняла. То, что было во мне разлажено, снова встало на место.

Странно. (…)

Вот еще записка для мамы. Боже, как все это печально! Найти себя… это, наверно, невозможно. Где то, в чем можно себя найти, – где дом, обычаи, верования? Вот почему в наше время так невыносимо трудно и горько жить.

Пытаюсь работать, но работа идет с трудом. Эта безжалостная Северная Африка разъедает душу: я уже больше не могу. Это могила. Как легко было вылетать на Лайтнинге на боевые задания! Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон.[188] Д. ничем не может мне помочь – да и чем тут поможешь? Я, признаться, боюсь за свою работу – боюсь даже в чисто материальном плане.

Я готов ко всему. (…) Во всем, что касается лично меня, я утратил малейшую надежду. Немного грущу о себе самом. Грущу обо всех. Когда я слышу, какие надо мной изрекают приговоры, мне делаются ненавистны все приговоры вообще. Главное, люди теряют надежду, им не хватает солнца. А что, если я люблю в других именно то, в чем могу помочь им сделаться лучше? Люблю тех, кому могу дать больше, чем получить? В сущности, я так одинок. Что, если я люблю помогать тем, кто тонет, держать голову над водой? Заставлять человеческий голос звучать по-особенному, вызывать на человеческом лице особенную улыбку.

Что, если меня волнуют только пленные души?

Когда мне чудом удается хоть на три секунды приручить того, кто считался погибшим, когда в нем хоть на три секунды пробуждается доверие ко мне – видели бы вы, какое лицо он ко мне обращает! Быть может, я по призванию – искатель подземных

ключей. Искатель того, что таится глубоко под землей. Я так мало нужен тем, кто совершенен.

Мне говорят: утопленница погрузилась глубже, чем ты думаешь… Но я бегу. И это вовсе не безумие. Только я один знаю, что вытаскиваю на свет божий. Странно, что мне понадобилось время, чтобы это понять. Но я действительно не чувствую в себе призвания ни составить чье-то счастье, ни получить его от кого-либо. Если я составляю чье-то счастье – мне делается страшно, словно я указал путнику неверную дорогу. Что до того, чтобы получать самому – мне-то ведь так немного нужно. Вполне можно подумать, что я жесток: я не утешаю в горестях, не выполняю желаний. Пусть я жесток с плотью, с сердцем, но только не с душой. Поэтому на самом деле я никогда не был жесток. Я, пожалуй, принадлежу тем, кто выбирает меня, как дорогу. Мне совершенно безразлично, откуда они идут. Чтобы выразить то, что я хочу сказать, мне, повторяю, не найти иных слов, кроме тех, которые относятся к религии. Я понял это, перечитывая своего Каида. Смысл этого трудно облечь в слова, но не случайно возникают эти повозка, дорога и обоз для вожатого вожатых. И ничего, ничего другого я не понимаю. Не понимаю, как это кто-то может быть достоин меня. Я ведь не награда. Или как это я могу быть кого-то достоин. Я ничего не достоин. И я не умею думать по-другому.

Кстати, я уже устал сам от себя. От своих запутанных мыслей по всякому поводу. Я словно сам у себя в тюрьме. И в других отношениях я тоже заключен в символическую тюрьму. Что можно противопоставить обвалу в горах? Я совершенно пал духом. Хочу писать в полную силу, но здесь для меня чудовищно неблагоприятный климат. Из меня жизнь уходит. Никогда еще я не испытывал подобного бесплодного изнурения. Это ужасно. Эх, всего два месяца назад так здорово был вылетать на Лайтнинге на задания! Эти болваны американцы сами не знают, что они со мной делают, лишая меня полетов. (…)

Письмо жене, Консуэло
[Алжир, без даты]

Нью-Йорк, раздоры, споры, клевета, выходки А. Б.[189] окончательно мне осточертели. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Но я от них устал. Все это как-то не по-человечески. Напускают туману… И в них во всех это есть. Это не моя родина. Мне надо быть выше этого, чтобы защищать покой в Аге[190], и обеды с Лазаревым[191], и твоих уток (которых ты жаришь, между прочим, неправильно, потому что корочка почти не хрустит),

чтобы защищать все лучшее. Лучшее в тех вещах, что мне дороги. Верность. Простоту. Партии в шахматы с Ружмоном[192] (вот уж славный парень), преданность, труд, согретый любовью, но только не игру с правдой, которую затевают лжецы в изгнании, вдалеке от всех человеческих понятий…

Письмо X.
[декабрь, получено 18 февраля 1944 г.]

Сейчас три часа ночи. (…) Больше не могу. Почему, ну почему такая тоска? Начну с новостей, не слишком интересных. Позвонок все-таки оказался сломан. Пелисье признал это через месяц скрепя сердце, когда увидел совершенно уже бесспорный снимок. А я весь этот месяц оставался на ногах, не имея морального права ложиться в постель. (П. принял бы это за оскорбление.) Для меня это была сущая китайская пытка. Надо сказать, что ходьба при переломах подобного типа, к счастью, не представляет большой опасности (так что я из многих зол выбрал меньшее). Сейчас мне по-прежнему больно, вечерами я просто инвалид, но, в общем, все налаживается. Все непременно пойдет на лад. А вот настроение… Тут все неладно.

Для меня нестерпима эта эпоха. Я больше не могу. (…) Все как-то обострилось. В голове мрак, на сердце холод.

Кругом посредственность. Кругом уродство. У меня к этим людям один существенный упрек[193]. Они не пробуждают ни в ком бодрости. Они никого не вдохновляют на жертвы. Они ничего не могут извлечь из человека. Унылые надзиратели в дурном коллеже. Вот их амплуа.

Они мешают мне, как болезнь. (…) Вот ведь странно. Я еще никогда, никогда не был так одинок на земле. Меня словно гнетет безутешное горе.

Не знаю, найду ли в себе силы излечиться от этого. И некому мне помочь.

А люди в этой стране – ну и убожество! Отбросы всех континентов. Запасной путь, на котором приходят в негодность все составы. Замшелая провинциальная жандармерия. Смехотворная напыщенность классных наставников, чувствующих себя хозяевами положения. Видели бы вы их ассамблею[194] – вот уж убогое зрелище! А как они из кожи лезут, чтобы уберечь от осмеяния то, что и в самом деле смешно! Смешно настолько, что страх берет.

А канцелярщина, которую они разводят в ожидании, пока им позволят открыть стрельбу! Клянусь тебе, у них нет никакого чувства юмора.

И столько вопиющих несправедливостей!

И все это медленно нарастает по мере того, как набирает силу глупость.

Глупо настолько, что страх берет.

Безобразно настолько, что страх берет.

Я сыт по горло.

Эта разобщенность с эпохой задевает меня больше всего на свете. Мне уж так хочется расстаться со всеми этими олухами! Что мне делать здесь, на этой планете? Со мной не хотят иметь дела? Какое удачное совпадение: я с ними тоже не хочу иметь ничего общего! Я с удовольствием попросил бы уволить меня с должности их современника. Среди них нет ни одного, кто мог бы сказать мне хоть что-нибудь интересное. Они меня ненавидят? Это утомляет меня больше всего, я хотел бы отдохнуть. Быть бы мне садовником, окруженным плодами. Или умереть.

Боже мой, я ведь все-таки несколько раз в жизни был счастлив – правда, всегда ненадолго. Так почему у меня нет больше права на одно-единственное безоблачное утро? Грустно, грустно, что надеяться больше не на что. О нет, грусть моя – не от хвори. Я-то прекрасно знаю, что для меня нестерпима социальная неприкаянность. Я весь наполнен гулом, как раковина. Не умею быть счастливым в одиночку Как бодро, весело было, когда я работал в Аэропосталь! Какое это было великое дело! Не могу я больше в этом убожестве. Не могу.

Жизнь в одиночном заключении, без веры. Эта дурацкая комната[195]. И никакого завтрашнего дня. Не могу больше в этом гробу.

Да, вот еще: так, мелочь.

Встречаю сегодня утром генерала Р. (бывший начальник разведотдела).

– А, здравствуйте, Сент-Экс. Между прочим, будьте начеку…

– А что такое?

– Дорогой мой, берегитесь того, берегитесь сего…

– Что вы имеете в виду?

– Предостеречь друга – наш долг. Будьте же осторожны.

– Ладно.

Так я больше ничего из него и не вытянул. Здесь, в Межсоюзническом комитете, натыкаюсь на Ложье[196].

Ничтожество, ректор Академии. Восседает среди верховных жрецов режима. Изволил меня заметить.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте.

И тут он, окруженный верховными жрецами, на меня обрушивается:

– Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена!

– Я?

– А кто же? Да, хорош ваш Петен!

Тут вмешивается один из жрецов, состоящих в свите этого хама:

– Как! Неужели вы член Национального совета?

И Ложье ему в ответ:

– Конечно, кто же этого не знает!

Вы помните это злополучное назначение, которым я обязан какому-то мерзавцу. Вы помните, в какой я был ярости, помните, что я сразу заявил протест. Но к чему пытаться что-либо объяснять? В атмосфере страстей, вскипающих вокруг выборов, слишком сложно развеять клевету. Я отрезал:

– Вы прекрасно знаете, что ведете себя сейчас как последний мерзавец.

И все. А что мне оставалось сказать?

Говорю вам, стена становится все толще. Говорю вам, ненависть вокруг сгущается. Еще говорю вам, что я не вынесу утраты солнца. Приехав сюда, я попал в ловушку.

Мне не выдержать ни клеветы, ни оскорблений, ни этого неописуемого бездействия.[197] Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал только побуждаемый любовью. Я люблю свою страну куда больше, чем все они, вместе взятые. Они любят только самих себя. До чего странная у меня судьба! Она неумолима, как лавина в горах, а я совершенно бессилен. За всю жизнь не могу упрекнуть себя ни в одном шаге, продиктованном ненавистью или местью, ни в одном корыстном поступке, ни в одной строчке, написанной ради денег.

А чувствую себя все-таки, как заживо погребенный.

Все это странно, странно, странно.

Может быть, уехать? Но я уже по колено увяз в этих зыбучих песках. Вытащить из них ноги было бы невероятным чудом. Завтра я завязну до пояса. Все идет к тому, что я окажусь в тюрьме. Но там-то и проявится их слабость: ведь если мне больше нравится спать, кто может мне в этом помешать?

Я подумываю, не сжечь ли мою книгу[198]? Если у меня украдут рукописи – не хочу, чтобы они валялись на их грязных кухнях. Горе мое выше моих сил. (…)

Вы видите: я не понимаю жизни. Ночами на меня наваливается тоска. По родным. По родине. По всему, что я люблю.

Не могу забыть, какой чудесный покой нисшел на меня в последнюю ночь в Ливии. Говорите со мной, заставляйте меня

любить жизнь. Когда я показываю карточные фокусы[199], я выгляжу веселым, но не могу же я показывать фокусы себе самому, и на сердце у меня смертельный холод.

Тут затевается новый журнал Арш, который намерен перепечатать «Письмо заложнику».[200] Я к этому не стремился. У меня нет ни малейшей охоты снова привлекать к себе внимание, слушать, что говорят обо мне, или говорить самому. Один тип из окружения Ложье сказал мне: «Я отказался сотрудничать в Арш, потому что, по слухам, там будут печатать вас!» Вот она, нескрываемая ненависть! Нескрываемое негодование! Если этот тип меня расстреляет, ему, несомненно, будет казаться, что он спас мир. От чего? Я ненавижу – и куда сильнее, чем он, – все виды предательства. Я люблю – и намного сильнее, чем он, – все, что связано с Францией. Что до немцев, то я не раз дрался и еще буду драться с ними, рискуя головой. В отличие от него. Так в чем же дело? Нет, с меня довольно.

Скандал с Ложье… Это, по-моему, и впрямь бесподобно. Я чувствую, что окружен ненавистью. Я все чувствую. Но я гадал: что они могут мне сделать?

Я рассуждал так: я сражался за мою страну, несмотря на возраст, я выступал против захватчика – и устно, и письменно. Я всегда ненавидел политику, и никто ни в чем не может меня упрекнуть… Я чувствую, что паровоз набирает ход, но куда он держит путь?

И вот, наконец, этот подонок разрешает мое недоумение. Господи, как я был глуп! Я начисто забыл о том случае! О дурацком назначении, о котором я не был даже официально извещен. Следовательно, не был обязан официально его отклонить. Тем не менее, я тут же по всей форме отказался от него через американскую прессу и радиовещание, после чего уже никто со мной об этом не заговаривал, и я был уверен, что с этой нелепостью покончено.

– Ага! Ага! Так вы до сих пор являетесь членом совета…

– Послушайте, это же чепуха! Я отказался… – И тут этот подонок перебивает:

– Несколько слов для прессы, чтобы угодить прессе, это не считается. А где ваше заявление об отставке? ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ!

И все это с видом жандарма, ловко припершего мошенника к стенке! Остальные качают головами и думают про себя невесть что!

А я, чтобы все разом уладить, попросту поворачиваюсь ним спиной.

Вот куда идет паровоз! Случаю со мной дается законный ход.

Он уже подлежит ведению закона. И этот подонок скажет мне: Бог свидетель, я вас люблю и уважаю! Но разве мы вправе делать для вас исключение? Ваш случай достаточно распространенный… Взять хотя бы Пейрутона! Тоже, надо думать, приличный человек, патриот (…).

Все это тошнотворно и в то же время восхитительно. Все идет по пути, предначертанному провидением. И надвигается на меня. Медленно так надвигается.

У меня адские боли в позвонке. Пелисье несколько озадачен моим переломом. Это как будто не такой перелом, который лишает человека способности передвигаться: сломан поперечный отросток пятого поясничного позвонка. Но мне кажется, что у меня что-то другое. Пелисье предлагает ультрафиолетовое облучение, но я и слушать не хочу. Он говорит: это снимет боли, но мне наплевать на боли. Они мне нужны как симптомы.

И вообще, боль – это нечто дружественное. Она неплохой компаньон. И такой преданный…

Я боюсь только тоски. Тревоги за тех, с кем нельзя больше быть рядом.

Я тревожусь за них. Старая история, вечно я рвусь в спасатели! Если мне не дадут к ним присоединиться – все их несчастья камнем лягут мне на сердце. Боюсь бессонных ночей, боюсь (…)

Возня вокруг моей книги меня раздражает. Но что же, по-вашему, позволить им все чернить? Или выискивать у меня то, что достойно их похвал? Найти можно все, что хочешь. Доказательством тому служит генерал Ложье, но меня от этого мутит.

Иногда мне выпадает удача испытать страдание, в котором нет ничего низкого. Это боль в позвоночнике. Но боль эта не настолько велика, чтобы по-настоящему меня утешить.

Нынче вечером мне хотелось бы вволю наплакаться. Мешает сознание того, что все это смешно. Весь этот цирк, и этот Ложье, и это жульничество!

У меня есть какое-то социальное чутье. Я никогда не ошибался. Вот уже год, как я все понимаю. Я… мне, конечно, плевать на себя, но я – это пятьсот тысяч. И я твердо знаю, что мои помыслы чисты.

Три дня спустя. Холодно. Спина ноет. У Пелисье не топят (нет камина). Зуб на зуб не попадает. Ложусь в двух пижамах, кальсонах и в халате. Ночь мне удается превратить в нечто. сносное. Но дни омерзительны.

Это, конечно, я в тюрьме. Может быть, мне нужно очутиться в тюрьме. Не кончая самоубийством. Я обязан выплатить какой-то

чудовищный долг.

В истории с Ложье меня бесит бесчестье. Не люблю бесчестья. Мерзко подумать, что меня посадят в тюрьму как пособника палачей. Это полностью противоречит истинным моим убеждениям. Сесть в тюрьму за приверженность к СВОЕЙ религии, пожалуй, и не обидно. Но поплатиться тюрьмой за чужую – это уж из ряда вон.

Ну, разумеется, почему бы и не тюрьма? Мне до безумия хочется покончить с собой. (Но тут уж дело в тоске, а над ней я не властен.) Вопрос в одном – сколько я выдержу. Может быть больше, чем мне кажется. (Но я ведь уже столько вытерпел!)

Быть может, это вернет меня на путь истинный…

Один бог знает. (Да здравствует бог, как вы говорили.)

Рисунки у меня не получаются. На три тысячи – один удачный. Вот и этот не вышел.

Если я кое-как научился писать, то лишь потому, что ясно вижу свои недостатки. Ни одна неудачная фраза от меня не ускользает. Не так уж глупо я когда-то сказал: «Я не умею писать, я умею только править».

Вкратце, что такое голлизм?

Группа частных лиц (это все были частные лица) сражается вне Франции, которая побеждена и должна спасать сама свое существование. И это очень хорошо. Франции следует участвовать в борьбе.

Генерал такого иностранного легиона[201] мог бы в своей борьбе рассчитывать на меня. Но эта группа частных лиц выдает себя за самое Францию (а Франция это Трефуэль, это Диди).

Эта группа хочет извлечь для себя выгоду из приносимой ею жертвы, хотя эта жертва меньше, чем жертва Франции (не говоря о том, что из истинного самопожертвования выгод не извлекают).

Из того, что она участвует в борьбе за пределами Франции, представляя собой самый обычный иностранный легион, эта группа намерена извлечь такую выгоду, как управление завтрашней Францией!

Это бессмыслица, потому что самопожертвование по сути своей не дает никаких прав. Вот главное.

Это бессмыслица, потому что завтрашняя Франция должна возродиться (если ей вообще суждено возродиться) из собственной плоти. Из той плоти, которая дала узников, заложников, детей, умерших с голоду. Это тоже главное.

Их ассамблея? Недурно разыграно. Но это спектакль, и этот спектакль смешон.

Они думают, что они – Франция, а должны бы понимать, что они – из Франции, а это совершенно разные вещи!

Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола[202]:

– Вы заблуждаетесь, Соединенные Штаты нельзя сбрасывать со счетов… Там искренне любят Францию. Рузвельт – больше француз, чем все республиканцы, вместе взятые. В интересах страны следует его поддерживать, а не шельмовать. Необходимо взять курс на дружбу с Соединенными Штатами… Необходимо в интересах Франции…

– После того как они так со мной обошлись? Он утомителен.

Личности, которые разгуливают с собственным пьедесталом под мышкой, очень утомляют зрителей.

Вы мне писали? Если писали, то о чем? Я не получил никакого ответа на свое письмо. Остерегайтесь передавать письма с оказией, даже если доверяете гонцам. Беда в том, что люди ленивы. Приехав сюда, они, не имея в своем распоряжении автомобиля, сдают письмо на почту. А это все равно, что пропечатать его в газетах…

– Очень, очень милый человек, но придется его расстрелять…

– За что?

– Он причина того, что в Соединенных Штатах не признают генерала де Голля…

В самом деле? Как лестно! Как я горд собой!

О люди…

Этот толстый дурень С.

– В Бразилии вас хотели расстрелять!

– Вот как?

Дурнем он был всегда, а вот растолстел недавно. Опух в опале – недурно звучит!

Он только забыл прибавить, этот толстый дурень, что сам способствовал этому! Я еще тогда, в Соединенных Штатах, был вне себя от ярости: он в своих выступлениях цитировал Военного летчика в перевранном виде! Он извлекал из моей книги аргументы в пользу своей рыхлой и тупой политики! Эта улитка С. ничуть не благороднее какого-нибудь там Анри Э…[203] Что бы вы ни имели в виду, всякие мерзавцы начинают за вас цепляться и размахивать вами. Все дезертиры, все банкроты, отсиживающиеся в Южной Америке, объявили себя голлистами. Это придавало им весу. Улитки-коллаборационисты ссылались на Военного летчика, безбожно перевирая его… А что поделаешь!

Люди!

Теперь, когда он оказался без работы, от его елейных разглагольствований об иностранных делах скулы сводит.

Когда он говорит мне: Вы были нашей совестью! – меня мутит от омерзения. Какая совесть у сиропа!

Ненависть. Все делается под знаком ненависти. Несчастная страна! Жиро пугало огородное и, как таковое, шума не боится. Это сущность его военной отваги. Но, будучи пугалом, он боится ветра.

И тот, другой, для которого сам Господь Бог – голлист.

И вся эта банда крабов, которые умеют только одно – ненавидеть.

Ах, страна моя…

А мой министр, Летроке[204], которого извлекли из нафталина, эксгумировали из недр музея Гревен[205], – до чего же ему хочется, чтобы его принимали всерьез!..

Один генерал спросил: Летроке – кто это?

Тридцать суток заключения в крепости.

В Дакаре, в кабаке, некий командир соединения изрек, глядя на портрет Великого Могола:

– Приколите его как следует, а то вон кнопки выпали! А лучше вставьте в рамку, под стекло, по крайней мере красивее будет…

По крайней мере… Пятнадцать суток строгого ареста за «по крайней мере»!..

Один полковник в дакарском кабаке заметил:

– В тунисской армии[206] было больше раненых, чем в армии де Голля солдат.

(Кстати, это верно.)

Полковника стерли в порошок – поделом ему.

Снова преследуются виновные в оскорблении величества, снова имеет силу закон о святотатстве.

И это в разгар борьбы с нацизмом!

Ну как, скажите, мне все это выдержать?

Мне так горько, что сил больше нет…

Я сказал себе эти слова потихоньку, словно они бог знает как поэтичны: хотелось немного поплакаться. То, что я писал тогда о Ливии, – правда. Когда в последний день на рассвете парашюты оказались сухими[207] и я решил, что мне конец, я минут десять лежал, не двигаясь, и утешался одной-единственной фразой, которая очень трогала меня: сердце высохло… высохло… из него не выжать ни слезинки!

Такого же утешения я искал и сейчас; свернулся на кровати и твердил, баюкая себя: мне так горько, что сил больше нет…

Но эти слова – словно китайские рыбки. Вынутые из воды, они уже ни на что не похожи. Вот так и слова, выхваченные из сна…

И все-таки это правда. Мне так горько, что сил больше нет (…)

24—12-43

Рождественская ночь.

В поместье Ла-Моль у дяди Эмманюэля[208] помню изумительный вертеп: ясли с овцами, лошадьми, быком; а еще там были пастухи, и ослик, и трое царей-волхвов, каждый вдесятеро выше лошади, а главное – запах воска: он для меня неотделим от всякого праздника… Мне было пять лет.

Благодарность, возносимая миром за рождение крошечного ребенка, – как это поразительно! Две тысячи лет спустя! Род человеческий сознавал, что должен взрастить чудо, как дерево растит свои плоды; и вот он весь стеснился вокруг чуда – какая в этом поэзия!

Цари-волхвы… Легенда или история? А до чего красиво!

Как странно! Я думал о тюрьме. Лежал в постели и представлял себе. Представлял какой-нибудь неожиданный поворот событий, который позволит мне выкрутиться. Такой ход, потом еще такой – и партия выиграна!

Между тем на сей раз, если гроза грянет, мне уже не отвертеться. По крайней мере, мне сейчас кажется, что я сам не захочу уклониться. Выпью эту чашу до дна. Уклонившийся утрачивает свою судьбу и словно проваливается в никуда. Это несерьезно.

Корнильон-Молинье предлагает мне в январе-феврале поехать с ним в Россию. Я согласился[209]. Надо же мне куда-то деваться, а там хотя бы мой возраст не будет мне помехой на войне. Но что же тогда станет с этой алжирской помойкой?

Боли в спине все сильнее. Я по-прежнему отказываюсь от ультрафиолетовых лучей, которые навязывает мне мой гостеприимный хозяин. Облучать сломанную кость – эта глупость просто бесит меня.

Конечно, в пехоту я больше не гожусь. Но я никогда особенно не любил ходить пешком: всегда был тяжел на ногу.

В двадцать пять – ревматизм, проболел четыре года. Потом Гватемала. И так далее.

Вероятно, самолет был для меня своеобразной компенсацией (…)

Да, работать. Но где? И как? И зачем, если все равно придется сжечь плоды своего труда?

Может быть, ничего и не случится – но это еще не значит, что я ошибаюсь. С тех пор как вы живете там, вы должны были до некоторой степени понять, что такое эта ненависть, над которой вы, слушая мои рассказы, подчас посмеивались. Они насядут на меня, если из-за меня их начнут – или не начнут – ругать в

Америке. Вот и все. Если бы не это…

Когда ненависть исходит от какого-нибудь Ложье – это вполне естественно. Он ненавидит меня точно так же, как я его презираю. Меня тошнит от его рассуждений, от этих махинаций с человеческими жизнями, от суемудрия, которое ни во что не вникает, но надо всем вершит суд, от готовности приспособиться к любой низости и тупости. Неужели он когда-то был ребенком? Быть не может. Такие, наверно, рождаются прямо в пенсне.

Но когда та же ненависть исходит от человека пусть взбалмошного, но чистого, она меня деморализует. Как неудача в любви. Невозможность найти общий язык с людьми всегда была для меня нестерпима. У меня сразу же пропадает всякая вера в то, что я не могу облечь в слова.

Мне казалось, что язык – это как любовь у черепах. Нечто не вполне завершенное. Результаты будут видны через тридцать миллионов лет. Благодать будет дарована.

Люди будут понимать друг друга с полуслова.

Чтобы найти свое место, им необходимы два лагеря. С. тянется ко мне, потому что я не голлист. Жаль. Меня-то к С. вовсе не тянет. В свое время я не до конца раскусил этого изнеженного пастыря. Эту тепленькую улитку. Меня тошнит от такой теплоты. В Бразилии он вел себя не слишком-то благородно. Лужа липучего сиропа. Там он записал меня в компанию своих – очень жаль! Но сопротивляться этому невозможно. Паразиты все равно заведутся.

Беспокойство за других настигает меня всякий раз как гром среди ясного неба. Ни с того ни с сего сваливается на меня какая-нибудь особа, которой грозят невероятные опасности, а у нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира[210]. То одна, то другая. Но не могу же я бросаться вплавь на все зовы о помощи одновременно! Тем более что я и плавать-то не умею. Но тюрьма – это, вероятно, нечто вроде монастыря. Мне, пожалуй, только тогда и бывает спокойно, когда мне приходится хуже всех. Вот почему, как ни странно, боль в позвоночнике несколько меня успокаивает. И я твердо знаю, что, если бы мне было очень больно, я совсем бы успокоился.

И я твердо знаю, что, если бы я умирал, мне казалось бы, что меня окружают заботой. Это идет из детства. Поцелуют, уложат, убаюкают.

Но сейчас все не так. Являются, откуда ни возьмись, одна за другой, один за другим, и все одно и то же. Как для обитателя Солема – что те люди, что эти, что грех, что добродетель, что рождение, что смерть. В мою последнюю ливийскую ночь все, что

я любил, представлялось мне совершенно осязаемо.

Очень странно.

Говорят, что меня ищут, чтобы передать письмо от вас. Попытаюсь найти этого гонца.

Я кое-что обдумал. Удивительно все же (если наблюдать откуда-нибудь с Сириуса), как может измениться душевное состояние от обычного письма. Это похоже на воздействие музыки. Вас погружают в стихию Иоганна Себастьяна Баха, и все ваши ощущения меняются. Даже смерть, если она настигнет вас в это время, приобретает совершенно иной смысл. И любой ваш поступок. И любое горе.

Признание всегда несет в себе ни с чем не сравнимый смысл. Это удивительно. В сущности, если Бах говорит мне что-то, значит, он меня признал. А на днях мне пришло письмо, которое меня взволновало. Тот, кто писал, признал меня. Этому письму и тюрьма была бы нипочем. Оно просочилось бы в любую тюрьму. А ведь его автор не так уж мне дорог, но сейчас он приобрел в моих глазах какую-то всемирную важность.

Богу угрожать, разумеется, бессмысленно. И бессмысленно то, что пишет мне мой корреспондент о Бахе: ведь он – просто бог, просто присносущий. Потому что Бах сумел то, что сумело это письмо. Не такие уж это разные вещи. И естественно, мне кажется, что я не могу жить без той, что написала мне это письмо. Но напиши мне не она, а другая – я и без той не мог бы жить. Я сразу же сказал себе: вот то, чего я жажду, потому что здесь для меня был готов водопой, но встреться мне Бах или какая-нибудь старинная песня XV века, я тоже сказал бы: вот то, чего я жажду… И, в конце концов, жажда моя минует их всех, минует Баха и устремится к какой-то общей мере всех вещей, которая мне никак не дается.

Сюда привозят все выходящие в Америке книги. Кроме моих. МОИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ.

Я представляю собой недурной документ, потому что жестоко страдаю. Недоразумение или тревога поражают меня с ходу, как бандитский нож. А некоторые слова с ходу меня исцеляют.

Я, конечно, воображаю всякий раз, что имею дело с личностями. Мне мерещится любовь (а может примерещиться и ненависть: я всякий раз проникаюсь ненавистью к тем, кто, как Л., крутит скверную музыку), но всякий раз мне мерещится, что я проникаюсь любовью или ненавистью к какой-нибудь определенной личности. И чем дольше я живу, тем полней убеждаюсь: мерещится мне не столько любовь, сколько предмет этой любви. На самом деле существуют только пути. И всякий раз подворачивается именно такое существо, которое вступает на

один из этих путей. С личностью мне сразу же становится скучно. Каждый человек – церковь, в которой можно молиться, но не целый же день напролет! Бог бывает в церкви не всегда.

Человек – это час молитвы. (Но далеко не всякий человек.)

Не считая этих озарений, я на удивление одинок.

То единственное, что занимает меня в мире, дается мне молниеносными озарениями, и я не умею это схватывать. Ожог – от музыки, от картины или от любви. Вот почему я так часто думаю о празднике, в котором как бы концентрируется смысл года. И я твердо знаю, что год должен казаться пустым. Он осмысляется только во время праздника. А об отдельных его составных частях судить не могу.

Вот почему они раздражают меня, когда вникают в булыжники на дороге. Как шагнул, да как поступил, да какое слово сказал. Все шаги, все поступки, все слова кажутся мне безобразными.

Меня упрекают, почему я не осуждаю то-то и то-то – ну, разумеется, я это осуждаю. Но и другую крайность тоже. А заодно и их самих! И разумеется, Дарлана! Ложье – дело другое! И я категорически отказываюсь превозносить этого, чтобы угодить тому. Раз они жрут из одного корыта, значит, в обоих есть низость.

Сами того не зная, они, такие, какие они есть, служат орудием определенной судьбы. Разве я виноват, что на любом божестве заводятся паразиты? Что собор возводится из таких же камней, что и бордель? Мне плевать на причины, по которым какой-нибудь там Ложье ненавидит своих врагов. И точно так же мне плевать на причины, по которым Пейрутон ненавидит Ложье. Что они могут сквозь собственные неприятности разглядеть в происходящем? Плевать я хотел на все их распри. Меня волнует только незримое пришествие. Это, конечно, не значит, что у меня есть способности к родовспоможению. Это значит лишь, что от их уровня меня мутит.

Здесь объявился Ж. и произвел на меня изрядное впечатление, хоть я терпеть не могу эту шушеру, да и жену его тоже. Всех этих королей наркотиков, преступного мира, черного рынка. Но зримый успех клеветы, поверхностных суждений и оговора всегда очень впечатляет.

Ну как, скажите, как мне хотя бы набраться решимости объяснить ему, что я ненавижу вишистский режим, который у него с языка не сходит, куда сильнее, чем он? Куда глубже. И упорней. (…)

Я понимаю, что всякий, кто прислушивается к голосу рассудка, покончил бы с собой во время разбирательства, не

дожидаясь, пока его поджарят, обезглавят и распнут. Но рассудок всегда вызывает негодование у страсти: друг друга им не понять.

Я смотрю на камни, а вижу собор; но как я покажу его другим, пока он не построен?

В сущности, мне даже убивать их не хочется. Я пожимаю плечами; мне очень горько.

Письмо матери[211]
[5 января 1944 г.]

Дорогая мамочка, Диди, Пьер, все вы, кого я так люблю, что вы поделываете, как себя чувствуете, как живете, какие у вас планы? До чего же печальна эта долгая зима!

Старенькая моя ласковая мамочка, я так надеюсь, что через несколько месяцев вы обнимете меня, и я буду сидеть в вашей комнате у огня, и буду рассказывать вам о своих замыслах, буду спорить с вами, но не очень… и вы будете слушать меня, вы, которая во всех случаях жизни всегда права…

Я люблю вас, мамочка.

Антуан

Письмо X.
[Алжир, 10 января 1944 г.]

Разговор с женщиной, доставившей письмо. Любопытно. Но я предпочел бы ограничиться знакомством с ее почерком. Я, я, я – это чересчур утомительно. И, изо всех видов, «я» особенно отвратительное – я ему заявила. Она заявила президенту, королю, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику.

Она храбра. Такие вот заносчивые люди, как правило, храбры. Храбры из вызова. Она бросает вызов королю, президенту, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Алжир она находит невыносимым, и тут она права. Но она считает невыносимыми американцев, японцев, монакцев, беррийцев, негров, индейцев, индусов, русских, немцев, марсиан, канаков.

И притом всех их она ставила на место, всех сажала в лужу. Господи, как она бывает утомительна!

Вне всякого сомнения, она оказала Сопротивлению серьезные услуги. Люди подобного типа могут вызывающе пронести коротковолновый передатчик под носом у гестапо. А женщины вроде нее наделены чисто мужской смелостью. То, что она делает, возможно, и весьма полезно, но в ее рассказах нет ничего интересного. С горечью она распространяется об обиде, которую ей нанесли, не приняв во внимание ее информацию. Она

сообщала в Англию о результатах бомбежки мостов. И вот они там прислушивались не к ней. Они, дескать, доверяют лишь тем, кто, выслуживаясь, преувеличивает и сообщает, что все разрушено, даже если все целехонько. У нее есть этому доказательства… сотни идиотских доказательств. Но существует такая штука, которая называется аэрофотосъемка. Каждая бомбардировка сопровождается аэрофотосъемкой, и на этих фотографиях можно буквально сосчитать, сколько болтов недосчитывает мост. Четкость неимоверная! Это куда верней, чем отправлять пешим ходом разведчика, да к тому же и быстрее. Так что они там не слушают ни ее, ни ее соперниц, а спокойненько делают стереоскопические монтажи из аэрофотоснимков.

Славная девушка? В чем-то – несомненно. Но, безусловно, утомительная. Ноль.

Нынешний вечер – сплошная черная ярость. Но завтра он превратится в уныние. А сегодняшняя ярость оттого, что все мои труды последнего месяца, как я и предполагал, кончились ничем. Генерал д'Астье де ла Вижери[212] сделался моим ходатаем, Буска[213] (который отнюдь не герой) согласился поставить еще раз, но уже под новым углом вопрос о моей поездке в Англию Дело таинственным образом затянулось. И тем не менее! Все казалось таким простым, ясным, нужным.

И вот сегодня вечером мне позвонил начальник отдела заграничных миссий полковник Эскарра:

– Понимаете… в следующий раз, под другим углом… во можно…

– Что, не прошло?

– Шеф…

– Понятно. Вето?

Глухая стена. (…)

Вина моя все та же: я утверждал в Соединенных Штатах, что можно быть хорошим французом, настроенным антигермански, антинацистски, и не считать голлистскую партию будущим правительством Франции. Да, в сущности, проблема эта нелепа. Решать будет Франция. За границей можно служить Франции, но не управлять ею. Голлизм должен стать оружием в борьбе, должен поставить себя на службу Франции. Но они негодуют, когда им говоришь это. Три года я здесь от них только и слышу о будущем правительстве Франции. Но я никогда не предам свою сущность. Франция – не Виши, но Франция – и не Алжир. Франция – в подполье. И если ей так хочется, пусть отдает себя алжирцам. Но они не имеют на это никакого права!

Я абсолютно уверен, что она выберет их. Из ненависти к вишистской мерзости. И по незнанию их сути. Вот бедствия

времени, когда отсутствует всякая информация. Террора не избежать. И расстреливать при этом терроре будут во имя неписаного Корана. Худшего из всех.

Но я не поставил на службу им огромное влияние (по их мнению), которым пользуюсь. Я больше всех ответствен за их неудачу в Соединенных Штатах! Только из-за меня они до сих пор не в правительстве! Смешно до невозможности!

Ничего себе формирование политических пристрастий! Мне это безумно льстит…

Но этим и объясняется тяжесть досье, пухнущих у меня над головой. Великолепная находка для них! Тошнит.

Сюда прибыла большая партия книг из Соединенных Штатов. Только моих нет в продаже. Я зачумленный… Ну и ладно, плевать мне на это.

Письмо Ж. Пелисье, подсунутое ему ночью под дверь [Алжир, 10 января 1944 г.]

Старина, я ложусь поздно, потому что всегда мог работать только ночью, и, хотя мне требуется в среднем часов семь сна, мне нипочем встать в 4, 5, 6, 7, 8, 9 утра… и вообще проснуться в любое время. Нипочем мне это и по той причине, что, если по телефону ничего срочного не сообщат, я тут же засну опять.

При той нелепой жизни, какой вынуждает меня жить г-н Летроке, я, вполне естественно, предпочитаю писать по ночам (днем из-за шума и суеты я это делать не могу), а утром спать, что лучше, чем бездельничать. Тем не менее, я в любое время в распоряжении каждого, кому нужен, и мне будет крайне неудобно, если обо мне пойдут слухи, будто я прошу не беспокоить меня по утрам.

Это и случилось сегодня, так как вы из дружеских чувств решили оберечь мой сон. На коленях умоляю вас не обращать внимания на то, что я сплю. (Это примерно то же, что для вас вызов в больницу.) Если вы еще не встали, я пойду звонить в кабинет или гостиную и нисколько вас не потревожу. Поймите, я предпочитаю не спать шесть ночей подряд, чем дать кому-нибудь возможность подумать (особенно имея в виду мою профессию), будто я не разрешаю тревожить себя до десяти утра. Я из-за этого выгляжу этакой смешной барынькой. Будите меня без каких бы то ни было угрызений совести, даже если я только что лег. Моя работа по ночам не касается моих корреспондентов. Заранее благодарю.

Письмо Ивонне де Летранж[214]

[февраль 1944 г.]

Ивонна, дорогая, как мне тебя не хватает! Мне так много нужно тебе сказать, так много! И очень хотелось бы знать, что ты делаешь, как поживаешь, о чем думаешь в эту эпоху вавилонского столпотворения, когда все языки утратили смысл.

Может быть, там, где ты, все на удивление здраво – и направленность мыслей, и направленность чувств, но тут, где пребываю я, – стоячая лужа. И лягушки распевают оперу. Если у нас повсюду так, можно отчаяться в жизни.

У меня потребность восстановить человеческое доверие. Я ненавижу политику. Ненавижу сухие и ложные идеи. Мне так необходимо все пересмотреть заново, исходя единственно из сущности. Жить дружбой, домом, садом…

Я пытаюсь делать, как лучше. Ты это знаешь.

Обнимаю тебя изо всех сил.

Антуан

Письмо Льюису Галантьеру
[май 1944 г.]

Дорогой, дорогой Льюис,

После нескольких полетов над Францией ваши соотечественники сочли меня чересчур старым, чтобы летать на большой высоте. И я сидел без дела. Однако благодаря любезности американского генерала Эйкера, согласившегося сделать для меня исключение, я вновь восстановлен в качестве пилота Лайтнинга П-38. Скорость этого самолета превышает как-никак восемьсот километров в час. А я вне всяких сомнений – старейший среди союзнических и неприятельских летчиков! В сорок четыре года я все еще, как юноша, летаю со скоростью восемьсот километров в час на высоте тридцать пять тысяч футов!

Джон Филипс, репортер Лайф, только что сделал репортаж о нашей эскадрилье. Он представил его как продолжение Flight to Arras. Не согласитесь ли вы, так много сделавший для успеха этой книжечки, оказать мне огромную любезность и перевести не то пять, не то шесть страниц ответов на вопросы? Это доставило бы мне огромную радость.

Дорогой Льюис, в такой дали от всех вас я превращаюсь в старика. Но я тысячу раз предпочитаю свое нынешнее положение алжирской помойке. Гнуснее этого мне уже ничего не увидеть. Зато французская армия (не политика) совершенно великолепна.

Дорогой Льюис, обнимаю вас и всех, кто вокруг вас.

Ваш *Сент-Экс*

Письмо г-же Франсуа де Роз[215]
[о. Сардиния, май 1944 г.]

Благодарю вас, дорогая Ивонна, за многое-многое. Не могу даже сказать за что (то, что идет в счет, незримо…), и, тем не менее, раз мне хочется вас поблагодарить, значит, у меня есть для этого основания.

Впрочем, это все неважно. Саду не говорят спасибо. А я всегда делил человечество на две части. Есть люди-сады и люди-дома. Эти всюду таскают с собой свой дом, и ты задыхаешься в их четырех стенах. Приходится с ними болтать, чтобы разрушить молчание. Молчание в домах тягостно.

А вот в садах гуляют. Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь непринужденно. И счастливые находки сами возникают перед тобой. Не надо ничего искать. Вот бабочка, вот жук, вот светлячок. О цивилизации светлячков ничего не известно. Об этом можно поразмышлять. У жука такой вид, словно он знает, куда направляется. Он очень спешит. Это поразительно, и об этом тоже можно поразмышлять. Бабочка. Когда она садится на большой цветок, говоришь себе: для нее это – словно она на качающейся террасе висячих садов Вавилона… А потом замечаешь первые звезды и – замолкаешь.

Нет, я вовсе не благодарю вас. Вы такая, какая есть. Просто мне захотелось еще раз у вас прогуляться.

И еще я подумал вот о чем. Существуют люди-шоссе и люди-тропинки. Люди-шоссе наводят на меня скуку. Мне скучны щебенка и километровые столбы. У людей-шоссе четко определенная цель. Барыш, амбиции. А вдоль тропинки вместо километровых столбов орешник. Бредешь по ней и щелкаешь орехи. Ты на ней для того, чтобы просто-напросто быть на ней.

И шагаешь для того, чтобы идти по ней, а не куда-то, куда тебе необходимо. А от километрового столба ждать совершенно нечего…

Ивонна, дорогая Ивонна, люди нашей эпохи попали в ловушку. Телефонная цивилизация невыносима. Подлинное присутствие сменилось карикатурой на присутствие. С человека на человека теперь переключаются так же, как в одну секунду поворотом ручки приемника переключаются с Иоганна Себастьяна Баха на «Пойдем-ка, цыпочка». Нынче ни на чем не сосредоточишься, человек сейчас во всем и ни в чем. Ненавижу это растворимое человечество. Если я где-то нахожусь, то я там как бы навечно. Садясь на скамейку, я желаю сидеть на ней вечность. Я имею право на своей скамейке на пять минут

вечности.

Вы, разумеется, встречаетесь со слишком многими людьми. И это раздражает. Они вас обкрадывают. И вечером вы, конечно, в состоянии величайшего уныния. Во всяком случае, у вас было бы такое чувство, не мешай вам об этом думать телефон, не будь он постоянно под рукой. И, тем не менее, очень интересно побыть некоторое время рядом с вами. Даже секунду, если это некоторое время секунда. Вы присутствуете в пожатии руки, в приветствии, даже в прощании. Вы спешите только в вещном, зримом мире. А втайне от себя самой неспешным шагом проходите по саду. И эта ваша истинная походка безмерно мне дорога.

Это, безусловно, означает, что вы нерастворимы. Но будьте все-таки настороже. Крутить слишком много ручек у приемников – изнурительно, даже если человек нерастворим. Даже если он умеет превратить одну секунду Баха в вечность. Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность – это дорога. А сто дорог разом – уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние.

Я становлюсь седым стариком, который сидит и покачивает головой. Словно сожалею о молодости, что прошла во времена повозок, запряженных волами. Мне бы надо быть меровингским королем.[216] Однако я всю жизнь разъезжал. Даже немножко устал от разъездов. Только сейчас я по-настоящему понимаю знаменитую китайскую пословицу: Три вещи не дают возвыситься духом. Во-первых, путешествие… И то, что мне раз двадцать говорил Дерен[217]: «Я знал лишь трех поистине великих людей. Все трое были неграмотны. Савойский пастух, рыбак и нищий. Они ни разу не уезжали из родных мест. За всю мою жизнь они единственные, кто снискал мое уважение…»

И еще очаровательные слова бедняги Жоз Лаваля[218] по возвращении из Соединенных Штатов: «Ужасно рад, что вернулся. Я не дорос до небоскребов, я на уровне осла…»

У меня изжога от километровых столбов. Они никуда не ведут. Надо было родиться в другое время…

Ожидая, когда же у меня появится призвание уйти в Солем (григорианские песнопения так прекрасны), или в тибетский монастырь, или стать садовником, я вновь выжимаю рычаги газа и со скоростью шестьсот километров в час лечу в никуда…

Именно поэтому, Ивонна, дорогая Ивонна, я совершил тихую прогулку в этом письме, в котором нет, в общем, никаких важных известий и которое, несомненно, будет трудно прочесть (я слишком стар, чтобы исправлять свой почерк). Да оно и не имеет никакого значения. Просто-напросто я пять минут вечности посидел в дружеской сени.

Сент-Экзюпери

[P.S.] Отвечать не надо, так как я убежден, что письма никогда не дойдут до этих богом забытых мест[219], а я скоро буду в Алжире. Я вам позвоню. Самолет улетает: доверяю ему это письмецо.

Телеграмма Кертису Хичкоку
[6 июня 1944 г.]

РАЗРЕШАЮ КОНСУЭЛО ВОЗОБНОВИТЬ ДОГОВОР СЪЕМЕ КВАРТИРЫ И НАДЕЮСЬ СКОРО НАПИСАТЬ ВАМ КНИГУ ТЧК СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ ВОЗРАСТ ВНОВЬ ЛЕТАТЬ КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРИЛЬИ ВХОДЯЩЕЙ СОСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ ГРУППЫ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ ТЧК ДУМАЮ ВСЕХ ВАС СЕРДЕЧНО ВАШ АНТУАН ДЕ
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Письмо Ж. Пелисье.
[Тунис, 9—10 июля 1944 г.[220]***]***

Дорогой друг!

Я здесь на два дня. Мой самолет неисправен. Электропровода перепутались, и все перегорело: стартер, радио и пр. (…) Но когда это письмо дойдет до вас, я уже, несомненно, вернусь на свою голубятню.

Случайно узнал, что отношения между моей голубятней и Алжиром были почти что прерваны. Так что даже если меня долго не будет, не пересылайте мне мои письма. Они пропадут. И все-таки попробуйте каждый раз дублировать телеграммы. Бесконечно вам благодарен.

Возвращаюсь завтра. У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь – завтрак в шесть утра, столовую, палатку или беленную известкой комнату, полеты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире – я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Собраться с мыслями и работать для себя во временном чистилище я не способен. В нем я утрачиваю общественный смысл. Но я выбрал работу на максимальный износ и, поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я истаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее. Само собой, я восхищен моими отважными товарищами по эскадрилье. И, тем не менее, чудовищно страдаю из-за отсутствия

человеческого общения. Все-таки, все-таки Дух – это страшно важно. Когда я ем в столовой, меня всякий раз не оставляет горестное ощущение безвозвратно потерянного времени. Я способен раствориться в любой группе, какой бы она ни была (…). Но никому и в голову не приходит, что мне может недоставать чего-то, кроме кино и женщин, как им. И однако свое я по большей части затаиваю в молчании. И мне всего не хватает. (…)

Пари между Сент-Эксом
и его другом полковником Максом Желе[221]
[15 июля 1944 г.]

Прямоугольный параллелепипед, высота которого равна диагонали основания, состоит из кубиков со стороной в 1 сантиметр. Площадь прямоугольника основания равна произведению 311 850 на некоторое неизвестное число. Требуется определить высоту параллелепипеда.

Если полковник Желе, выпускник Политехнической школы, успеет решить мою задачу за три дня и три бессонные ночи, обязуюсь подарить ему авторучку «Паркер 51». Если же он не решит ее за трое суток, то подарит мне шесть пачек сигарет «Филип Моррис».

Письмо матери[222]
[Борго, июнь 1944 г.[223]***]***

Мамочка!

Мне так хочется, чтобы вы не волновались обо мне и чтобы получили это письмо. У меня все в порядке. Во всем. Грустно только, что так долго не виделся с вами. И я очень тревожусь за час, милая моя старенькая мамочка. В какое несчастное время мы живем!

Для меня было ударом узнать, что Диди потеряла свой лом. Ах, мамочка, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же, наконец, будет возможно сказать тем, кого любишь, о своей любви к ним?

Мама, поцелуйте меня от всего сердца, как я вас целую.

Антуан

Письмо Пьеру Даллозу[224]
[30 или 31 июля 1944 г.]
Полевая почта 99027

Дорогой, дорогой Даллоз, я ужасно огорчен вашим коротким

письмецом! На этом континенте вы, безусловно, единственный человек, которого я почитаю таковым. Как бы мне хотелось знать, что вы думаете о нынешних временах! Я, например, предаюсь отчаянию.

Полагаю, вы считаете, что я был прав со всех точек и под любым углом зрения[225]. Вот что значит добрая слава! Да наставит вас небо опровергнуть меня. Как бы я был счастлив, докажи вы это!

Я воюю, что называется, изо всех сил. Я, вне всяких сомнений, – старейшина военных летчиков всего мира. Для одноместных истребителей, на которых я летаю, установлен возрастной предел в тридцать лет. Однажды на высоте десять тысяч метров над озером Анси у меня вышел из строя один мотор, и было это как раз тогда, когда мне исполнилось… сорок четыре года! Я с черепашьей скоростью полз над Альпами, отданный на милость первого встречного немецкого истребителя, и тихонько посмеивался, вспоминая сверхпатриотов, которые запрещают мои книги в Северной Африке. Смешно.

После возвращения в эскадрилью (а вернулся я туда чудом) я испытал все, что только возможно. Аварию, обморок из-за неисправности в системе подачи кислорода, погоню истребителей, а однажды в воздухе у меня загорелся мотор. Я не считаю себя скупцом и здоров, как плотник. Это единственное мое утешение! И еще те долгие часы, когда я совсем один лечу над Францией и фотографирую. Все это странно.

Здесь я вдали от извержений ненависти, но все-таки, несмотря на благородство товарищей по эскадрилье, что-то в этом есть от нищеты человеческой. Мне совершенно не с кем поговорить. Конечно, это важно – с кем живешь. Но какое духовное одиночество!

Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Меня ужасает грядущий муравейник. Ненавижу добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садовником.

Обнимаю вас.

Сент-Экс

Письмо X.
[30 июля 1944 г.]

(…) Я четырежды едва не погиб. И это мне до одури безразлично.

Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением (…)[226] начхать мне на нее. Осточертели они мне.

Здесь война, и я подвергаюсь опасности, самой неприкрытой,

самой неприкрашенной, какая только может быть. Опасности в чистом виде. Как-то меня заметили истребители. Я все-таки удрал. Я счел это бесконечно благотворным. Не из спортивного или воинственного восторга: их я не испытываю. А потому что не воспринимаю ничего, кроме качества внутренней сущности. Мне омерзела их фразеология. Омерзела их напыщенность. Омерзела их полемика, и я ничегошеньки не понимаю в их добродетели (…)

Добродетель – это значит спасать французское духовное наследие, оставаясь хранителем библиотеки где-нибудь в Карпантра[227]. Добродетель – беззащитным лететь на самолете. Обучать детей чтению. Быть простым плотником и пойти на смерть. Они – народ… а я нет. Нет, я тоже принадлежу этой стране.

Несчастная страна! (…)

Полевая почта 99027

Письмо французам

Немецкая ночь заволокла всю нашу землю. До сих пор нам еще удавалось узнать что-нибудь о тех, кто нам дорог. Нам еще удавалось напомнить им о нашей любви, хоть мы и не могли разделить с ними их горький хлеб. Нам было слышно издалека их дыхание. С этим покончено. Теперь во Франции царит безмолвие. Она затерялась где-то там, в ночи, словно корабль с погашенными огнями. Все, что в ней есть сознательного, духовного, притаилось в самых ее недрах. Мы не знаем ничего, не знаем даже имен заложников, которые завтра будут расстреляны немцами.

В подземельях, среди угнетенных, рождаются на свет новые истины. Так давайте не будем бахвалиться. Там – сорок миллионов французов, обращенных в рабство. Нам ли нести духовный огонь тем, кто питает его собственной плотью, словно свеча воском! Они лучше нашего разберутся в том, что нужно Франции. Право на их стороне. Все наши разглагольствования о социологии, политике и даже об искусстве ничего не стоят по сравнению с их мыслью. Они не станут читать наши книги. Они не станут слушать наши речи. От наших идей их, чего доброго, стошнит. Мы должны вести себя бесконечно скромнее. Наши политические дискуссии – это дискуссии призраков, наши притязания просто смешны. Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей. Что бы мы ни делали, у нас нет никакого права на ее благодарность. Открытый бой невозможно сравнить с ночным бандитским налетом. Ремесло солдата невозможно сравнить с ремеслом заложника. Только те, кто там, – истинные святые. Даже если нам вскоре выпадет честь сражаться,

все равно мы останемся в долгу. Мы все в долгу, как в шелку. Это первая и незыблемая истина.

Давайте же объединимся ради общего служения, французы.

Для начала я скажу несколько слов о распрях, разобщивших нас; надо искать против них лекарство. Потому что на Францию напала хворь. Многие из нас, кого мучит больная совесть, нуждаются в исцелении. Пусть же они исцелятся. Благодаря такому чуду, как вступление в войну американцев, самые разные пути сходятся на едином перекрестке. К чему нам вязнуть в старых распрях? Нужно объединять, а не разделять, раскрывать объятия, а не отталкивать.

Разве наши распри – причина для ненависти? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что во всем прав? Человек располагает чрезвычайно узким полем зрения. Язык – орудие несовершенное. Жизнь ставит такие проблемы, от которых все формулы трещат по швам.

Будем же беспристрастными. Член бюро парижского муниципалитета под давлением острой необходимости был вынужден вступить в переговоры с победителем о том, чтобы Франция получила подачку – немного смазки для наших железнодорожных вагонов (у Франции нет больше ни бензина, ни даже лошадей, а ей нужно кормить свои города!). Позже офицеры из комиссии по перемирию опишут нам этот постоянный свирепый шантаж. Четверть оборота ключа, регулирующего поставки этого продукта, – и за полгода умрет на шесть тысяч детей больше. Когда гибнет расстрелянный заложник – честь ему и слава. Его гибель – цемент, скрепляющий единство Франции. Но когда немцы, просто-напросто задержав поставку смазки, истребляют сто тысяч пятилетних заложников, ничто не искупит этого медленного, безмолвного кровотечения.

Кроме того, для нас не секрет, что если бы Франция расторгла соглашение о перемирии, то с юридической точки зрения это было бы равносильно возврату к состоянию войны. А возврат к состоянию войны дает оккупантам право брать в плен всех мужчин, подлежащих мобилизации. Этот шантаж лег на Францию тяжким бременем. Угроза была самая что ни на есть недвусмысленная. С немецким шантажом шутки плохи. Немецкие лагеря – это фабрики, продукция которых – трупы. В сущности, нашей стране грозило полное истребление, под видом законных административных мер, шести миллионов взрослых мужчин. Безоружная Франция не могла голыми руками сопротивляться этой охоте на рабов.

И вот, наконец, союзники в семьдесят шесть часов высаживаются в Северной Африке, и это доказывает, что

Германия, несмотря на свой свирепый шантаж, за два года террора не сумела полностью блокировать эту самую Северную Африку. Кое-где во Франции крепко давало о себе знать Сопротивление. Победа в Северной Африке была, быть может, одержана отчасти и нашими пятьюстами тысячами погибших детей.

Ах, французы, стоит нам свести наши расхождения к их истинным размерам – и этого достаточно, чтобы всем нам заключить между собой мир. Нас никогда ничего и не разделяло, кроме взглядов на значение нацистского шантажа.

Одни думали так: «Если немцы вздумают уничтожить французский народ, они его уничтожат, несмотря ни на что. Шантаж надо презирать. Ничто не влияет ни на решения, ни на высказывания правительства Виши».

Другие думали так: «Мы имеем дело не с простым шантажистом; мы имеем дело с таким лютым шантажистом, равного которому не бывало в истории человечества. Франция, не идя на уступки в главном, только и может, что хитрить на словах, чтобы отсрочивать со дня на день свое уничтожение».

Французы, неужели, по-вашему, эти разные мнения об истинных размерах бывшего правительства – повод для взаимной ненависти? Как бы ни расходились мы во мнении, мы едины в общей ненависти к захватчику. Кроме того, эти расхождения стали менее ощутимы уже тогда, когда дорвавшийся до власти Лаваль[228] выдал нацистам еврейских беженцев. Солидаризируясь со всем французским населением, мы считаем право убежища священным. Итак, теперь существовавшие между нами распри стали беспредметными: режим Виши мертв.

Виши унес с собой в могилу свои неразрешимые вопросы, свои противоречия и свою лихость. Давайте заранее уступим роль судей историкам и военным трибуналам, чье время придет после войны. Сейчас важнее служить Франции, а не спорить о ее истории.

Тотальная немецкая оккупация разрешила все наши споры и облегчила нам муки совести. Хотите примириться друг с другом, французы? Нет больше ни малейшего повода для раздоров. Давайте откажемся от партийных пристрастий. Во имя чего нам ненавидеть друг друга? Для чего нам завидовать друг другу? Дело ведь не в том, кому какая должность достанется. Дело ведь не в борьбе за должности. Единственные вакантные должности сейчас – солдатские, да еще, может быть, покойные ложа на каком-нибудь скромном кладбище в Северной Африке.

По французским законам, человек подлежит призыву в армию до сорока восьми лет. Мы все должны быть призваны, от

восемнадцатилетних до сорокавосьмилетних. Речь уже не о том, чтобы нас спрашивали, хотим мы или не хотим принести себя в жертву. Чтобы склонить чашу весов, нужно призвать нас всех вместе усесться на эту чашу, вот и все.

И все-таки, даже если признать наши старые распри не более чем распрями историков, нашему единству грозит и другая опасность. Французы, давайте наберемся мужества, чтобы ее превозмочь. Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной. Чтобы восторжествовал именно тот строй, а не этот. Им уже мерещится на горизонте призрак несправедливости. Зачем осложнять себе жизнь? Сейчас не время бояться несправедливости, не время думать о личном. Если каменщик отдает все силы возведению собора, собор не причинит ему зла. От нас требуется только одно: чтобы мы воевали. Я чувствую, что надежно защищен от всякой несправедливости из-за того, что я лелею единственную мечту – вновь обрести в Тунисе товарищей по группе 2/33, с которыми жил вместе девять военных месяцев, а потом было беспощадное наступление немцев, стоившее нам двух третей наших экипажей, а потом бегство в Северную Африку накануне перемирия. Французы, хватит нам спорить о старшинстве, о почестях, о справедливости и о том, кто главнее. Ничего этого нам не предлагают. Нам предлагают винтовки. Их хватит на всех.

Я бесконечно спокоен и обязан этим спокойствием тому, что не чувствую ни малейшего призвания играть роль судьи. Общность, к которой я примыкаю, – не партия и не секта: это моя родина. Временное общественное устройство Франции – дело французского правительства. Уж об этом-то позаботятся Англия и Соединенные Штаты. Наша задача – нажимать на гашетку пулемета, а потому не будем беспокоиться о вопросах, которые предстоит решить потом. Истинный наш вождь – Франция, обреченная на молчание. Будь прокляты все партийные, клановые и прочие розни!

Мы желаем теперь только одного (и мы вправе высказать это желание, поскольку оно всех нас объединяет) – подчиняться не политическим вождям, а военным, потому что честь, отдаваемая солдатом солдату, возвеличивает не того солдата, кому отдали честь, не партию, а Народ. Мы знаем, что такое власть для генерала де Голля и генерала Жиро: для них это служение. Они первые из тех, кто служит. И этого нам достаточно, потому что все распри, которые еще вчера могли нас остановить, сегодня потеряли значение или вовсе исчезли.

Вот, по-моему, итог, к которому мы пришли. Необходимо, чтобы наши друзья в Соединенных Штатах увидели истинное

лицо Франции. Сейчас она представляется всему свету каким-то осиным гнездом. Это несправедливо. Слышно одних спорщиков. Молчуны не делают много шума…

Я предлагаю всем французам, молчавшим до сих пор, засвидетельствовать г-ну Корделлу Хэллу[229] наше истинное настроение; для этого мы должны один-единственный раз нарушить молчание и отправить ему – каждый от своего имени – такую телеграмму:

«Просим оказать нам честь, предоставив любую возможность служить. Желаем военной мобилизации всех французов, находящихся в Соединенных Штатах. Заранее согласны на любую организацию, которая будет признана целесообразной. Поскольку всякий раскол среди французов нам ненавистен, мы хотим, чтобы эта организация оставалась вообще вне политики».

Они там, в государственном департаменте, будут поражены тем, как много французов выскажется за единство. Что бы о нас ни думали, большинство из нас в глубине души питают лишь любовь к нашей цивилизации и к нашей родине.

Отринем все раздоры, французы. Когда мы на борту бомбардировщика заспорим с пятью или шестью «мессершмитами», наши былые споры покажутся нам смехотворными. Когда в 1940 году я возвращался с задания в изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходное перно в баре нашей эскадрильи. И выигрывал в кости рюмку перно то у товарища-роялиста, то у товарища-социалиста, то у лейтенанта Израэля, еврея, который был отважнее нас всех. И мы пили вместе, чувствуя, как бесконечно дороги друг другу.

Обращение Сент-Экзюпери к американским читателям, выражающее надежду на прочный мир с США

Во время вчерашнего эфира на радиоканале «Columbian Broadcasting System network» французский киноактер и патриот Чарльз Боэр поднял тему франко-американского содружества, зачитав отрывок из эссе своего соотечественника Антуана де Сент-Экзюпери. Эссе было написано накануне разведывательного полета, из которого писатель так и не вернулся.

Вот отрывок, прочитанный мистером Боэром:

«Мои американские друзья, я призываю вас быть в высшей степени справедливыми. Возможно, настанет день, когда между нами встанут серьезные разногласия. Всем нациям свойственно себялюбие, которое они считают священным. Быть может, однажды между нами возникнут крупные споры, и вам придется

использовать собственную силу против нас. Но хоть войну и выигрывают солдаты, все же, иногда мирный договор диктуют бизнесмены.

И даже если когда-нибудь мне придется осуждать решения этих мужей, я никогда не забуду благородства ваших целей на этой войне.

Я неизменно отдаю должное глубине ваших чувств.

Оглянитесь, друзья, мне кажется, что-то новое зарождается на нашей планете. Современная жизнь соединяет всех нас, образуя подобие нервной системы с бесчисленными контактами и мгновенно возникающими связями. Мы, как клетки, являемся частицами одного тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознал себя. Бесполезна рука, не принимающая сигналы от глаз.

Ваша молодежь гибнет на войне, и впервые в истории эта война может стать для них своеобразным опытом любви. Не предавайте их! Позвольте им продиктовать мирный договор, когда придет его день! Они сделали эту войну благородной. Дайте же им облагородить и мир!»

Письмо генерала де Голля Мари де Сент-Экзюпери, матери Антуана, с благодарностью за присланную книгу

[27 декабря 1959 г.]

Сударыня,

От всего сердца благодарю вас.

Ваш сын жив, он среди людей! И Франция счастлива этим! Примите, сударыня, уверения в глубочайшем уважении и признательности.

Ш. де Голль

notes

Примечания

1

Руа Жюль (род. 1907) – писатель и драматург, по профессии военный летчик.

2

Конрад Джозеф (Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857–1924) – английский писатель польского происхождения, моряк по профессии. Большинство его книг посвящено морским приключениям

3

Мермоз Жан (1901–1936), Гийоме Анри (1897–1940) – летчики, участвовавшие, как и Сент-Экзюпери, в создании трансатлантической почтовой авиалинии Франция – Южная Америка.

4

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М., «Гослитиздат», 1964. – С. 9.

5

Король-Солнце – льстивое прозвище Людовика XIV.

6

Военная миссия «Сражающейся Франции» во главе с генералом А. Бетуаром (род. 1889) прибыла в США в 1942 г.

7

Строка из стихотворения Виньи «Моисей» (1822).

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 122.

Там же, С. 129.

10

Там же, С. 123.

11

Там же, С. 154.

12

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М., «Гослитиздат», 1964. – С. 190.

13

Трапписты – католический монашеский орден, отличающийся суровым уставом.

14

Там же, С. 191–192.

15

Там же, С. 284.

16

Там же, С. 196.

17

Там же, С. 189, 190.

18

«Голод» – название, данное во французском переводе рассказу Р. Киплинга «Вильгельм Завоеватель» (из сборника «Дневное задание», 1899); «История семейства Гэдсби» – цикл сюжетно связанных рассказов Киплинга (1888)

19

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М., «Гослитиздат», 1964. – С. 173.

20

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 181.

21

Имеется в виду древнегреческая этимология слова «поэт».

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 171.

23

Там же, С. 187.

24

Там же, С. 293.

25

Там же, С. 194.

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 366–367.

27

Там же, С. 419.

Там же, С. 397.

29

Ренуар Пьер Огюст (1841–1919) – художник-импрессионист; Пастер Луи (1822–1895) – химик и биолог, основатель микробиологии.

30

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 399–400.

31

«Алиса в Стране Чудес» – сказка английского математика и писателя Льюиса Кэрролла (1865).

32

Там же, С. 392.

33

Каид – арабский вождь племени.

34

Верт Леон (1879–1955) – писатель и художественный критик.

35

«Заратустра» – «Так говорил Заратустра», лирико-философская книга Ф. Ницше (1883–1885).

36

Дени де (род. 1906) – швейцарский франкоязычный писатель.

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М., «Гослитиздат», 1964. – С. 388.

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М.: «Гослитиздат», 1964. – С. 277.

Там же, С. 286.

Там же, С. 286–287.

41

Там же, С. 398.

42

Там же, С. 406.

43

Сент-Экзюпери А. де. Соч. – М., «Гослитиздат», 1964. – С. 407–408.

Там же, С. 506.

Там же, С. 504.

46

Сальпетриер – знаменитый парижский приют для престарелых женщин.

47

Статья была напечатана в газете «Пари-суар» 2 октября 1938 г. Вместе с двумя следующими статьями она составляет небольшой цикл под общим заголовком «Мир или война?».

48

Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей. – 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене было заключено соглашение между правительствами Англии, Франции, Германии и Италии (без участия представителей Чехословакии, с которой Франция была связана союзным договором), по которому от Чехословакии отторгалась в пользу Германии пограничная Судетская область, а некоторые другие территории – в пользу Польши и Венгрии. Расчленение чехословацкого государства предопределило его полную ликвидацию в марте 1939 г. Правительственная пропаганда в Англии и Франции представляла Мюнхенское соглашение как средство «спасти мир» и разрешить кризис в германо-чехословацких отношениях. Фактической же его целью было «умиротворить» гитлеровскую Германию и направить ее агрессию на восток, против Советского Союза.

49

Мы шествуем к грозовому Синаю. – По библейской легенде (Исход, гл. XXIV), на вершине горы Синай, покрытой огненным облаком, Моисею явился бог (Сергей Зенкин).

50

Шезри – поселок в департаменте Эн, на востоке Франции. (Сергей Зенкин).

51

Статья напечатана в «Пари-суар» 4 октября 1938 г. Ее текст позднее был в значительной части использован в книге «Планета людей».

52

Рифская война – колониальная война Франции и Испании в Марокко в 1921–1926 гг. против независимой республики, созданной племенами горной области Риф; закончилась разгромом Рифской республики.

53

Мермоз Жан (1901–1936) – знаменитый французский летчик. Работая в авиакомпании «Аэропосталь», первым проложил почтовые авиалинии над Андами и через Атлантический океан между Францией и Южной Америкой. Пропал без вести во время одного из полетов.

54

Юби (Джуби) – мыс на западном побережье Африки, на юге Марокко. В 1927–1929 гг. Сент-Экзюпери работал начальником расположенного там промежуточного аэродрома на почтовой авиалинии.

55

…куртелиновского мелкого буржуа… – Имеются в виду персонажи сатирических произведений французского писателя Жоржа Куртелина (1858–1929).

56

…мистику пангерманизма или Римской империи. – Имеются в виду шовинистические лозунги «великой Германии» и «возрождения Римской империи», провозглашавшиеся официальной фашистской пропагандой в Германии и Италии.

«Фронтовой театр» – Имеются в виду представления артистов в действующей армии

58

Мильтон Жорж (наст. имя Жорж Дезире Мишо, 1888—?) – французский эстрадный певец.

59

Я не желаю выступать по радио… – В октябре 1939 г. Сент-Экзюпери выступал по просьбе Ж. Жироду по французскому радио. По-видимому, подобные приглашения он получал и в последующие месяцы.

60

Рамон Фернандес (1894–1944) – французский писатель, критик и публицист; был членом профашистской «французской народной партии».

61

Пьер Дак – французский писатель-юморист и артист-комик.

62

Даладье Эдуард (1884–1970) – французский политический деятель, в 1938–1940 гг. премьер-министр Франции, подписал в 1938 г. Мюнхенское соглашение и в дальнейшем продолжал политику «умиротворения» гитлеровской Германии.

63

…убожество Жироду и его дозированности. – Очевидно, подразумеваются радиовыступления Ж. Жироду в первые месяцы войны, когда он стоял во главе французского пропаган-дистского ведомства. В них защита гуманистических идеалов и принципов буржуазной демократии сочеталась с неубедительным казенным оптимизмом, а иногда и с прямыми уступками нацистской идеологии.

…идею расы и единства. – Имеется в виду идеология нацизма с ее культом «высшей расы».

65

Шансор Норбер (1893–1955) – французский авиатор, в 1939 г. возглавлял управление авиационной промышленности в министерстве авиации.

66

Боже милостивый, чего мы ждем! – Англия и Франция вплоть до мая 1940 г. не вели активных боевых действий против Германии на западном фронте (т. н. «странная война»), по-прежнему надеясь повернуть гитлеровскую агрессию против СССР.

67

Дора Дидье (1891–1969) – французский авиатор, в 20х гг. был директором по эксплуатации в компании «Аэропо– сталь», где и познакомился с Сент-Экзюпери; считается прототипом Ривьера в его повести «Ночной полет» (1931). В начале войны он предлагал Сент-Экзюпери назначить его в авиагруппу связи для перевозки высокопоставленных лиц. Сент-Экзюпери это предложение отклонил.

68

Лафайет – здесь, очевидно, условное обозначение какого-то лица, известного самому Сент-Экзюпери и адресату письма. Прибегая к такому шифру, писатель, видимо, учитывал возможность вмешательства военной цензуры.

69

Орконт, середина декабря. – 3 декабря 1939 г. Сент-Экзюпери, наконец, добился назначения в боевую авиачасть, но из-за возраста и состояния здоровья – не в истребительную, а в разведывательную – группу 2/33 дальней разведки, базировавшуюся в те дни в городке Орконт (департамент Марна).

Декарт – очевидно, опять условное обозначение какого– то лица.

71

Кессель, Жозеф (1898–1979) – французский писатель и журналист; в первую мировую войну был военным летчиком. В декабре 1939 г. он посетил авиагруппу 2/33 в качестве военного корреспондента.

72

…вспоминаю свою аварию в Ливии… – Речь идет о неудачной попытке перелета из Парижа в Индокитай в январе 1936 г., описанной в книге «Планета людей».

73

Верт Леон (1879–1955) – французский писатель и художественный критик, друг Сент-Экзюпери; ему посвящен «Маленький принц» (1942).

Сюзанна – жена Л. Верта.

75

Консуэло – жена Сент-Экзюпери, по происхождению аргентинка.

76

Всякий раз, открывая «Марианну». – В газете «Марианна» сотрудничал в это время Л. Верт.

Пьер – Пьер д’Аге, муж сестры А. де Сент-Экзюпери.

Диди – сестра писателя Габриель.

79

Статья Поллеса… – В этой статье (место публикации не установлено; автор, по-видимому, писатель и публицист Анри Поллес, р. 1909) Сент-Экзюпери был подвергнут оскорбительной критике за то, что он как писатель якобы спекулирует на своей репутации героя-авиатора. 31 января 1940 г. Л. Верт выступил в газете «Марианна» с опровержением этой статьи.

Корню, Андре (1892-?) – редактор «Марианны».

81

…из-за наступления (?) на Бельгию. – В действительности военные действия на территории Бельгии начались только несколько месяцев спустя, в мае 1940 г.

82

«Отель де Лан». – Лан – город в департаменте Эна, на севере Франции, куда в январе 1940 г. перебазировалась авиагруппа 2/33.

83

Ольвек Фернан (1890–1941) – французский ученый-физик, знакомый Сент-Экзюпери. 14 января 1940 г. Ольвек побывал в авиачасти, где служил писатель, и беседовал с ним о проблемах работы авиационной техники в условиях больших высот и низких температур.

84

«Простодушная, она плакала… со всеми драгоценностями» – цитата из первой редакции книги «Цитадель».

85

Я уйду к Витролю. – Известный летчик полковник Вит– роль осенью 1939 г. уже помог Сент-Экзюпери добиться перевода в боевую авиачасть. Вплоть до марта 1940 г. писателю, однако, приходилось совершать лишь тренировочные полеты. Здесь он, очевидно, высказывает намерение добиваться перевода в другую, более активно действующую часть.

Gulf Stream – Гольфстрим (англ.).

Ice bergh – Iceberg (англ.) – айсберг.

88

Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился. – Это решение было принято из-за конфликта между командиром авиагруппы 2/33 капитаном Шенком и одним из его подчиненных – командиром эскадрильи капитаном Гийомом. Новым командиром группы стал (6 февраля 1940 г.) майор Анри Алиас.

89

…пить с вами перно на берегу Соны… – об этой встрече с Л. Вертом во Флервиле весной 1939 г. Сент-Экзюпери вспоминает в «Письме заложнику».

Деланж Рене – журналист, редактор газеты «Энтран– зижан».

Кам (Камилла?) – по-видимому, жена Деланжа.

92

…я не видел собор. – Имеется в виду знаменитый готический собор в Реймсе (XIII в.).

93

Эта прощальная запись сделана Сент-Экзюпери в связи с намечавшимся его отзывом из действующей армии для участия в научно-технических разработках в тылу. В итоге перевод не состоялся – видимо, по просьбе самого писателя, не желавшего уходить на тыловую службу. 19 марта 1940 г., пройдя трехнедельную переподготовку на новом разведывательном самолете, Сент-Экзюпери вернулся в часть и приступил, наконец, к боевым полетам.

94

…старой южноамериканской авиалинии. – Имеется в виду почтовая линия Франция – Южная Америка, созданная компанией «Аэропосталь» в 20-х гг. (см. ранние повести Сент– Экзюпери – «Южный почтовый» и «Ночной полет»).

95

На рисунке, сопровождающем это письмо (как и в приведенных выше письмах 1939 г.), Сент-Экзюпери в условной форме изобразил свои разведывательные полеты. Надпись на облачке «Bloch 174» означает марку самолета-разведчика, в марте 1940 г. поступившего на вооружение группы 2/33; чёрт, скрывающийся за другим облаком, – немецкий истребитель.

96

…фронт у Суасона… – Смысл этих слов неясен: в апреле 1940 г. немцы еще не вторглись в пределы Франции, и город Суасон (в департаменте Эна) находился далеко от линии фронта.

97

Орконт, апрель 1940 г. – В январе – апреле 1940 г. авиагруппу 2/33 несколько раз перебрасывали с аэродрома в Оркон– те в Лан и обратно.

98

Если она вдруг решит укрыться на юге… – Мать и сестра писателя жили в городе Are (Прованс).

99

Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы… – Юго-востоку Франции грозило вторжение союзных Германии итальянских войск; правительство Муссолини, однако, медлило со вступлением в войну против Франции и сделало это только 10 июня 1940 г., когда французская армия уже потерпела поражение от германского вермахта.

100

…книга пока не отстоялась во мне. – Имеется в виду «Цитадель».

101

Истребительная авиагруппа 1/3 взаимодействовала с разведчиками из группы 2/33.

102

Елена Прекрасная – персонаж греческих мифов о Троянской войне.

103

Верцингеториг (72–45 или 46 до н. э.) – вождь древних галлов, боровшихся против римских завоевателей.

104

Мы вылетаем в Алжир. – 20 июня 1940 г., за два дня до капитуляции Франции, авиагруппа 2/33 получила приказ эвакуироваться в Алжир. На борту транспортного самолета, который пилотировал Сент-Экзюпери, находилось несколько десятков французских и польских военных летчиков, которые покидали Францию, намереваясь продолжать войну за ее пределами.

105

Эшторил, Португалия. – В начале августа 1940 г., после перемирия с Германией, Сент-Экзюпери был демобилизован из армии, вернулся в южную (неоккупированную) зону Франции, прожил там некоторое время с родными, а в ноябре через Алжир уехал в Португалию. Там, в курортном городе Эшторил близ Лиссабона, он ожидал судно, чтобы отплыть на нем в Соединенные Штаты.

106

…Гийоме погиб. – Анри Гийоме, старый друг Сент-Экзюпери по почтовым авиалиниям (см. посвященную ему книгу «Планета людей»), 27 ноября 1940 г., пилотируя гражданский самолет, был сбит над Средиземным морем истребителем неизвестной принадлежности (как полагают, итальянским).

107

…на линии Касабланка-Дакар… – Имеется в виду почтовая линия в Западной Африке, которую Сент-Экзюпери обслуживал как пилот, а затем как начальник аэродрома в 1927–1929 гг.

«Бреге-XIV» – марка почтового самолета 20-х гг.

109

И из друзей по Южной Америке… – в 1929–1931 гг. Сент-Экзюпери был техническим директором южноамериканских почтовых линий компании «Аэропосталь».

110

Хочу закончить свою книгу. – Имеется в виду «Цитадель».

111

Пакостная газетная война… – 30 января 1941 г. в американских газетах появилось сообщение о том, что французское коллаборационистское правительство Виши назначило Сент-Экзюпери членом созданного в Виши «национального совета». Чувствуя себя скомпрометированным, писатель на следующий день заявил в американской печати и по радио, что впервые узнал о назначении из газет и «отклонил бы его, если бы моего согласия спросили». Этот случай дал, однако, недругам Сент-Экзюпери повод обвинять его в сотрудничестве с вишийским пра-вительством.

112

Галантьер Льюис (1893 или 1895–1977) американский литератор, переводчик на английский язык книг Сент-Экзюпери.

113

…с температурой 104–105! – Имеется в виду принятая в США шкала Фаренгейта (по шкале Цельсия – около 40°).

114

…на 21 этаже… – В Нью-Йорке Сент-Экзюпери жил на 21-м этаже дома в районе Сентрал-парк.

115

Буду думать о книге. – Речь идет, судя по всему, о «Военном летчике».

116

Трапписты – католический монашеский орден.

117

…в том обществе последователей Корана, которое вы питаетесь нам навязать… – «Коран» для Сент-Экзюпери в годы войны – постоянная метафора тоталитаризма, подавляющего свободу личности ради мертвого, антигуманного государства. Отвергая тоталитарную идеологию фашизма, писатель в то же время усматривал сходную тенденцию и у сторонников Ш. де Голля, неприязненные отношения с которыми у него сложились уже в Америке; одно из свидетельств этой взаимной неприязни – данное письмо.

118

Что это там за история с датой? – Имеется в виду срок представления в издательство новой книги Сент-Экзюпери «Военный летчик». Л. Галантьер от имени издателей торопил писателя с окончанием книги.

a priori – заранее (лат.).

et cetera – и прочее, и так далее (лат.).

121

«Рассуждение о методе» (1637) – трактат Р. Декарта, в популярной форме излагающий основы его философии.

122

Бронетранспортеры на странице 166… – Речь идет о книге «Военный летчик». Л. Галантьер, работая над ее английским переводом, очевидно, предлагал писателю некоторые по-правки.

123

Рейхич – то есть Рейналь и Хичкок, владельцы издательства, выпускавшего книги Сент-Экзюпери в США.

124

Ламотт, Бернар – американский художник, иллюстрировавший издания «Планеты людей» и «Военного летчика» на английском языке.

125

Книжка моя вот-вот выйдет. – «Военный летчик» вышел впервые в английском переводе 20 февраля 1942 г. под названием «Flight to Arras» («Полет к Аррасу»).

126

…нью-йоркские поддельные французы. – Имеются в виду французские эмигранты-голлисты, которые действительно резко отрицательно встретили книгу, увидев в ней «пораженчество» и утверждение «общей вины» французов в военной катастрофе 1940 г.

127

…когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен. – Имеются в виду разведывательные полеты Сент-Экзюпери над Германией весной 1940 г.

128

…два года оскорблений и клеветы…. – Имеются в виду 1941–1942 гг., прожитые писателем в США, где он подвергался нападкам со стороны французских эмигрантов-голлистов.

129

И все-таки я еду… – 20 апреля 1943 г. Сент-Экзюпери с одним из американских военно-транспортных конвоев отплыл в Северную Африку, чтобы присоединиться к французской армии, возобновившей операции против немецких и итальянских войск.

130

Пелисье Жорж – врач, старый друг Сент-Экзюпери; на квартире у Ж. Пелисье он жил во время своего пребывания в Алжире.

131

Уджда – авиабаза в западном Алжире. В июне 1943 г. Сент-Экзюпери, вновь зачисленный в разведывательную авиагруппу 2/33 (она размещалась в Алжире), проходил там летную подготовку на новом американском самолете «Лайтнинг».

132

…о коллизии Жиро-де Голль… – Соперничество между генералами де Голлем и Жиро (после убийства в декабре 1942 г. адмирала Дарлана) в борьбе за руководство заграничными патриотическими силами Франции привело к компромиссу: 3 июня 1943 г. в Алжире был создан Французский комитет национального освобождения (ФКНО), во главе которого стояли оба генерала. В дальнейшем де Голль постепенно оттеснил Жиро от власти.

133

Северина – экономка доктора Пелисье.

134

Летний дворец – резиденция генерала Жиро в Алжире.

135

Письмо это публиковалось после смерти писателя под разными названиями: «Письмо генералу Х.», «Что нужно говорить людям?». Предполагаемый его адресат – Рене Шамб (1889?), французский летчик и писатель, автор ряда книг об авиации. В 1943 г., имея чин бригадного генерала, он был в Алжире одним из ближайших сотрудников генерала Жиро и оказывал всевозможную поддержку своему другу Сент-Экзюпери.

136

«П-38» – американский самолет «Лайтнинг», поступавший в те месяцы на вооружение французской армии в Алжире.

137

…вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись… – Неясно, о чем здесь идет речь; скорее всего, в тексте описка и должно быть «1940 года».

138

«Бугатти» – марка спортивных автомобилей.

139

Аустерлиц – селение в Моравии, место крупной победы Наполеона (2 декабря 1805 г.) над войсками австро-русской коалиции.

140

Вернейль, Луи (1893–1952) – французский драматург, автор множества развлекательных комедий.

141

Система Бедо – система учета рабочего времени, разработанная французским инженером Шарлем Бедо (1888–1944).

142

Григорианский псалом – песнопения католической церкви, отбор и канонизация которых начались в VI в., при папе Григории I.

143

Солем – старинный бенедиктинский монастырь во французском департаменте Сарта.

144

Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником? – Жан Мермоз в последние годы жизни примыкал к крайне правой националистической организации «Огненные кресты», возглавлявшейся полковником Франсуа де Лароком (1885–1946).

145

Картезианские ценности – имеются в виду принципы рационалистической философии Р. Декарта (латинизированное имя Cartesius – Картезий).

146

…в разговоре с генералом Жиро. – Во время этой беседы, как вспоминал Р. Шамб, Сент-Экзюпери рассказывал генералу о своих столкновениях с нью-йоркскими голлистами и предостерегал его от сотрудничества с де Голлем. Жиро с недоверием отнесся к этим советам.

147

…я повредил кисть правой руки… – Имеется в виду один из старых переломов, полученных в авиационных авариях.

148

Иностранный легион – наемные колониальные войска Франции.

149

«Принцесса Клевская» (1678) – психологический роман г-жи де Лафайет.

150

…целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха. – Молох – в библейской мифологии божество, для умилостивления которого сжигали маленьких детей.

151

Я получил «Военного летчика»; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр. – Характерный факт, свидетельствующий о степени взаимного непонимания и враждебности между Сент-Экзюпери и голлистами: книга «Военный летчик», изданная в США и в оккупированной Франции (запрещенная немецкими властями, она переиздавалась там нелегально), была запрещена также и администрацией де Голля и не распространялась в свободной от фашистов Северной Африке. В распоряжении писателя имелся только один экземпляр, вывезенный им из Америки.

152

Гарбо Грета – американская киноактриса.

153

«Паккард» – американская марка автомобилей.

154

«Обогащайтесь!» Гизо… – Франсуа Гизо (1787–1874) – один из политических лидеров Июльской монархии во Франции – обратился с таким призывом к французской буржуазии. Изначальный смысл слов Гизо, относившихся к вопросу об имущественном цензе для избирателей («Обогащайтесь, и вы докажете свою способность управлять государством»), в дальнейшем забылся, и в расхожем употреблении они стали означать призыв к циничной и безудержной погоне за прибылью.

155

Бернстейн Анри (1876–1953) – французский драматург, апологет буржуазного благополучия.

156

…ваша книжка… – Какая из книг Р. Шамба имеется в виду, определить трудно.

157

Луи Филипп (1773–1850) – французский король в 1830–1848 гг. Его правление – время утверждения во Франции политического и идеологического господства буржуазии.

158

Гувер, Герберт Кларк (1874–1964) – президент США в 1929–1933 гг., пришедший к власти на исходе периода экономического «процветания» Соединенных Штатов (20-е гг.).

159

Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров… – Ср. в «Письме заложнику», V: «Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу». «Собор» для Сент-Экзюпери служил символом Коллектива, человеческой общности, скрепленной узами нравственных отношении и устремленной к высшей цели; наиболее же губительный вариант пренебрежения этими узами писатель видел в фашизме (см. «Военный летчик»). Смысл приведенных слов, таким образом, следующий: французы, предавшись мелким, сиюминутным интересам, забыли о глубинных духовных основах своей цивилизации («собор») и оказались морально безоружными перед лицом фашистских «варваров».

160

Августин Аврелий (354–430) – церковный деятель, один из основателей христианской теологии.

161

Монтобан – городок в Бретани (департамент Иль и Вилен).

162

…к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма? – Леон Блюм (1872–1950) – лидер Французской социалистической партии, в 1936–1938 гг. дважды возглавлял правительство Народного фронта. Непоследовательная политика, проводившаяся им перед лицом нараставшей агрессивности со стороны фашистской Германии, навлекла на него острую критику со стороны разных – как левых, так и правых – по-литических сил; правительство Виши в 1942 г. отдало его под суд, объявив одним из ответственных за поражение Франции в 1940 г. Отмежевываясь от этой пропагандистской акции виши– стских властей, Сент-Экзюпери одновременно косвенно спорит со своими противниками-голлистами, отождествлявшими его книгу «Военный летчик» с вишистской пропагандой.

mea culpa – моя вина (лат.).

164

…неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей! – Как видно из перечня боевых вылетов Сент-Экзюпери, речь здесь идет о заданиях, выполненных им 23 и 29 июня 1944 г., то есть данное письмо написано 3 июля 1944 г. и во французском издании «Военных за-писок» датировано с ошибкой на год.

165

Серр – в 30-е гг. технический директор в авиакомпании «Эр-Франс», в которую влилась в 1933 г. компания «Аэропо– сталь».

166

…и совсем еще недавно – на борту «Лайтнингов» П– 38. – Летом 1943 г. Сент-Экзюпери совершил всего два разведывательных вылета. 1 августа, возвращаясь с задания, он допустил незначительную аварию при посадке (самолет врезался в насаждения, ограждавшие летное поле), и 12 августа американское командование, ссылаясь на возраст писателя, отстранило его от полетов на «Лайтнинге».

167

Лично я был против перемирия. – Имеется в виду капитуляция Франции 22 июня 1940 г.

168

А я еще не беру в расчет арабскую проблему. – Подразумевается враждебность арабского населения Северной Африки к французским колониальным властям.

169

Наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали. – Имеется в виду «комиссия по перемирию», работавшая в немецком городе Висбадене.

170

…в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры. – Сент-Экзюпери, вероятно, имеет в *виду расправу оккупантов над жителями варшавского гетто после подавления вспыхнувшего там восстания (апрель-июль 1943 г.). Приведенная им цифра сама по себе ошибочна, но в целом писатель имел все основания ужасаться геноциду (в то время его размеры были известны еще не полностью), осуществлявшемуся гитлеровцами.*

171

Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил. – Марсель Пейрутон (1887-?) в 1940–1941 гг. занимал пост министра внутренних дел в правительстве Виши; при его участии в октябре 1940 г. были приняты первые расистские законы, ограничивавшие права евреев во Франции. В дальнейшем Пейрутон примкнул к генералу Жиро, который назначил его генерал-губернатором Алжира; его отставка в июне 1943 г. явилась успехом Ш. де Голля, добивавшегося чистки французской администрации в Северной Африке от вишистских элементов.

172

…я бы, возможно, поставил перед собой задачу убить Пюше. – Пьер Пюше (1899–1944) также был одно время (в 1941–1942 гг.) министром внутренних дел в правительстве Виши и нес ответственность за многие репрессии. Так же как и М. Пейрутон, он стал одним из сотрудников генерала Жиро в Северной Африке, но затем, с приходом к власти де Голля, был арестован как активный коллаборационист и весной 1944 г. по приговору суда расстрелян.

173

Мандель, Жорж (1885–1944) – французский политический деятель. В июне 1940 г., будучи министром почт и телеграфа, занял патриотическую позицию и пытался препятствовать заключению капитулянтского перемирия с немцами. В дальнейшем он боролся против правительства Виши и был убит его агентами.

174

…в конечном счете, перемирие было заключено не правительством, а Францией. – Сент-Экзюпери явно преувеличивает «единодушие» французского народа в момент капитуляции. Он игнорирует, в частности, инициативу Французской коммунистической партии, которая 6 июня 1940 г., находясь в подполье, выступила с призывом к правительству немедленно вооружить народ и организовать оборону Парижа.

175

Пруво, Жан (1885–1979) – французский газетный магнат, в июне 1940 г., занимая в правительстве пост министра информации, был одним из инициаторов перемирия с Германией.

176

…под властью штреземановских педерастов… – Густав Штреземан (1878–1929) был одним из лидеров Веймарской республики в Германии, созданной после поражения в первой мировой войне и Ноябрьской революции 1918 г.

177

Дерулед, Поль (1846–1914) – французский писатель и политический деятель крайне националистического толка; здесь его имя упомянуто как нарицательное обозначение шовиниста.

178

…нью-йоркским спорщикам… – Подразумеваются французские эмигранты-голлисты, с которыми Сент-Экзюпери полемизировал, находясь в США.

179

Фогель (Вожель), Люсьен (1886—?) – французский журналист, в 1940 г. эмигрировал в США, где участвовал в деятельности голлистской эмигрантской организации «France for ever» («Франция – навеки»).

180

В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан. – Отношения «Сражающейся Франции» с западными союзниками (особенно с США) действительно складывались достаточно напряженно, хотя до «подготовки войны» дело, конечно, не доходило. Так, в 1942 г. англоамериканцы не предупредили де Голля о готовившейся ими высадке на территории североафриканских колоний Франции, а в дальнейшем пытались отстранить его от власти на этих территориях, делая ставку то на адмирала Дар– лана, то на генерала Жиро. Западных союзников не устраивала слишком самостоятельная политика генерала де Голля, препят-ствовавшая их планам ослабления Франции как своего экономического и политического конкурента.

181

Трефуэль, Жак (1897–1977) – французский химик и бактериолог, директор Пастеровского института.

182

Давид Вейль – по-видимому, Жан Давид-Вейль (1898–1972), французский востоковед, хранитель музея Лувра.

183

Я в постели, в неподвижности… – Описанный ниже несчастный случай произошел с писателем 5 ноября 1943 г. Полученная травма мучила Сент-Экзюпери несколько месяцев и еще более усиливала его подавленное состояние, вызванное отстра-нением от боевых полетов

Шнейдер – лицо неустановленное.

185

На другой день Советы давали большой прием. – Имеется в виду прием в советском представительстве при Французском комитете национального освобождения по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции.

186

Обуано, Филипп (1899–1961) – вице-адмирал, соратник Ш. де Голля, в 1943 г. командовал военно-морскими силами «Сражающейся Франции».

187

…пришлось подключить военных врачей. – Находясь на военной службе (в резерве командования), Сент-Экзюпери должен был освидетельствоваться у военных врачей, чтобы получить разрешение оставаться дома из-за травмы.

188

Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон. – Предельный возраст, установленный в американских ВВС для полетов на скоростных самолетах «Лайтнинг», составлял 35 лет, тогда как писателю было уже 43.

189

…выходки А. Б… – Имеется в виду французский поэт–сюрреалист Андре Бретон (1896–1966), в 1941 г. эмигрировавший в США. Бретон отрицательно отозвался о «Военном летчике».

190

…защищать покой в Аге… – В этом городе жили мать и сестра Сент-Экзюпери.

191

Лазарев, Пьер (1907–1972) – французский журналист, газетный издатель; сын эмигранта из России. В конце 30-х гг. он был редактором газеты «Пари-суар», где печатались корреспонденции Сент-Экзюпери, в годы оккупации жил в эмиграции, со-трудничал в американских органах пропаганды.

192

Ружмон, Дени де (р. 1906) – швейцарский франкоязычный писатель. В 1940–1947 гг. жил в США и часто встречался там с Сент-Экзюпери.

193

У меня к этим людям один существенный упрек. – Имеются в виду сторонники генерала де Голля, который к концу 1943 г. удалил генерала Жиро из ФКНО и окончательно утвер-дил свою власть в этом комитете.

194

Видели бы вы их «ассамблею»… – Речь идет о Временной консультативной ассамблее – представительном органе, созданном при ФКНО в ноябре 1943 г.

195

Доктор Пелисье отвел Сент-Экзюпери маленькую, узкую комнату, похожую на кладовку: по одну сторону от окна – бельевые шкафы, по другую, вдоль стены – небольшая кровать. – Прим. фр. издателя.

196

Ложье, Анри (1888–1973) – французский ученый-физиолог. После оккупации Франции жил в эмиграции, был в США одним из активистов голлистской организации «France for ever», в 1943–1944 гг. работал в Алжире, возглавлял местную академию.

197

…этого неописуемого бездействия. – Имеется в виду вынужденное бездействие Сент-Экзюпери после отстранения от полетов в августе 1943 г. и травмы в ноябре.

…*мою книгу?* – Имеется в виду «Цитадель».

199

Когда я показываю карточные фокусы… – Все люди, знавшие Сент-Экзюпери, восхищались его мастерством в карточных фокусах.

200

…новый журнал «Арш», который намерен перепечатать «Письмо заложнику». – «Письмо заложнику» было помещено в первом номере этого журнала, вышедшем в Алжире в феврале 1944 г. Это была первая публикация Сент-Экзюпери на территории, контролируемой деголлевской администрацией, которая препятствовала распространению книг писателя.

201

Генерал такого иностранного легиона… – Здесь Сент–Экзюпери вкладывает в слова «иностранный легион» особый смысл: французские войска, ведущие борьбу против фашизма за пределами метрополии.

202

Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола. – Пьер Кот (1895–1977) – французский политический деятель, был министром авиации в прави-тельстве Народного фронта; в 1940–1943 гг. жил в эмиграции в США, затем представлял партию радикальных социалистов во Временной консультативной ассамблее в Алжире. «Великим Моголом» (название династии феодальных правителей Индии в XVI–XIX вв.) Сент-Экзюпери иронически именует де Голля.

203

Анри Э – Гастон Анри-Э (1890—?), в 1940–1942 гг. посол правительства Виши в Вашингтоне.

204

…мой «министр» Летроке… – Андре Летроке (1884–1963) с декабря 1943 г. занимал во Французском комитете национального освобождения пост комиссара по армии. Сторонник де Голля, он воспротивился предполагавшейся командировке Сент-Экзюпери в США для получения новой авиационной техники. Иронические кавычки при слове «министр» объясняются здесь тем, что Сент-Экзюпери не признавал ФКНО полномочным правительством Франции.

205

Музей Гревен – парижский музей восковых фигур.

206

Тунисская армия – армия генерала Жиро, политического соперника де Голля, участвовавшая с декабря 1942 по май 1943 г. совместно с англо-американцами в ликвидации итало– немецкой группировки в Тунисе.

207

Когда… парашюты оказались сухими… – См. рассказ об этом в «Планете людей». Сент-Экзюпери и его товарищ в пустыне расстилали на песке парашюты, чтобы собрать росу.

208

…у дяди Эмманюэля… – Имеется в виду Эмманюэль де Фонколомб, брат матери писателя.

209

Корнильон-Молинье предлагает мне в январе-феврале поехать с ним в Россию. Я согласился. – Генерал Эдвард Корнильон-Молинье (р. 1899) в годы войны занимал высокие командные посты в ВВС «Сражающейся Франции». В начале 1944 г. готовилась отправка в СССР группы французских военных пилотов для пополнения истребительного полка «Нормандия», сражавшегося на советско-германском фронте; очевидно, именно об этом и идет здесь речь.

210

А. де Сент-Экзюпери. Избранное. «Маленький принц». Лениздат, 1977, с. 476. Пер. Н. Галь

211

Это письмо было доставлено в оккупированную Францию одним из руководителей движения Сопротивления, который в январе 1944 г. был заброшен туда на американском самолете.

212

Астье де ла Вижери, Эмманюэль д’ (1900–1969) – один из руководителей французского движения Сопротивления, комиссар по внутренним делам в ФКНО. В начале 1944 г. он предлагал назначить Сент-Экзюпери военным атташе в Англии.

213

Буска, Пьер (1891-?) – генерал, в 1943 г. был назначен командующим французской авиацией в Северной Африке; один раз, в декабре 1943 г., он уже пытался добиться командирования Сент-Экзюпери с военной миссией в США.

214

Ивонна де Летранж – двоюродная сестра писателя.

215

Об адресате письма сведений нет.

216

Мне бы надо быть меровингским королем. – Династия Меровингов правила во Франции в V–VIII вв. Сент-Экзюпери шутливо намекает на пассивность и безынициативность в государственной политике ее представителей, за которыми закрепилось прозвище «королей-ленивцев».

217

Дерен, Андре (1880–1954) – французский художник, принадлежал к направлениям фовизма и кубизма.

218

Лаваль, Жозе – лицо неустановленное.

219

…до этих богом, забытых мест… – Эскадрилья, в которой служил Сент-Экзюпери, базировалась в это время на о. Сардиния.

220

Тунис, 9—10 июля 1944 г. – Сент-Экзюпери летал в Тунис на церемонию крещения сына Р. Гавуаля.

221

Желе, Макс – товарищ Сент-Экзюпери по авиагруппе 2/33 со времен кампании 1940 г.

Это последнее письмо Сент-Экзюпери матери дошло до нее лишь год спустя после его гибели, в июле 1945 г.

223

Борго, июль 1944 г. – Эскадрилья, где служил Сент-Экзюпери, 17 июля была перебазирована на о. Корсика.

Даллоз, Пьер – журналист и известный спортсмен-альпинист, участник французского Сопротивления. В январе 1944 г. он был переправлен в Англию и работал в заграничных органах Сопротивления в Лондоне и Алжире. Это и следующее письма Сент-Экзюпери – последние, написанные им; они были найдены в его комнате после того, как писатель не вернулся из разведывательного полета 31 июля 1944 г.

225

Полагаю… что я был прав со всех точек и под любым углом зрения. – Писатель, судя по всему, намекает на трагические события в Веркоре – горном массиве на юге Франции, где в июле 1944 г. немецким войскам удалось разгромить крупное соединение французских партизан. Пьер Даллоз, адресат письма, был одним из инициаторов создания партизанской базы в Веркоре; вину за ее гибель отчасти несло командование «Сражающейся Франции», не оказавшее партизанам своевременной помощи. Сент-Экзюпери, скептически относившийся к де Голлю и его окружению, очевидно, усматривал в этих событиях лишнее подтверждение своим выводам.

226

Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением. – Писатель вновь критикует голлизм, в политике которого он видел искусственное разжигание вражды между французами.

227

Карпантра – старинный город в департаменте Воклюз, на юге Франции.

228

Пьер Лаваль (1883–1945) – французский государственный деятель, премьер-министр правительства Виши.

229

Хэлл Корделл (1871–1955) – государственный секретарь США в 1933–1944 гг.